ХРОНИКИ ЭРБОРИАНА

КНИГА ВТОРАЯ

Седьмая башня



АЛЕКС ЗАКАРИН

Алекс Закарин

Седьмая башня

«Автор»
2026

Закарин А.

Седьмая башня / А. Закарин — «Автор», 2026

Дейн спас север и проиграл его. Половина его ладони серая от смерти, а мир снова трещит по швам — так же, как тысячу триста лет назад.Тогда маги Академии Семи Башен вскрыли мир в поисках первородного огня, и остановить прорыв смогли только некроманты седьмой, Чёрной башни. Им заплатили изгнанием: имя башни соскоблили со всех стен, а летопись записала их виновниками беды.Дейн идёт в Академию с вопросом, на который там не хотят отвечать. В её подвалах ждут записки изгнанной некромантки Иссары — швеи саванов, которая однажды позвала Тьму, чтобы спасти город, и знала, чем за это придётся платить.История о том, что летопись пишут победители, а правду — те, кто штопает. О любви без слов, о цене, которую платят сразу, и о мёртвых, которые помнят лучше живых.

© Закарин А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Саван 6
Часть первая. Серое 8
Глава 1. Синяя дверь 8
Глава 2. Праздник Семи Башен 15
Глава 3. Чёрная башня 22
Глава 4. Тонкое место 29
Глава 5. Сторож 36
Лист Ионы I. Предупредили ли 42
Глава 6. Письма с севера 44
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Алекс Закарин
Седьмая башня



Пролог. Саван

Академия Семи Башен. Тысяча двести пятьдесят лет назад.

Ключ был чужой и тёплый.

Иссара несла его в кулаке всю дорогу от ворот: по Свечной лестнице, мимо Лазурной башни, где за решёткой дремал привратник, через двор, где на днях жгли книги. Двор до сих пор пах палёной кожей переплётов. Ключ, конечно, согрелся от руки. Только он был тёплым и тогда, у ворот, когда его сунули ей в ладонь, а рука, которая сунула, сразу спряталась в рукав, лицо — в капюшон, и человек ушёл, сильно припадая на одну ногу. Догонять она не стала. В семьдесят лет за людьми не бегают. Особенно за ровесниками: обидятся.

Крипта лежала под площадью Основателей, на сорок ступеней вниз. Иссара считала их вслух — от этой привычки её отучали пятьдесят лет и так и не отучили. На двадцать шестой ступени она остановилась перевести дух и поругала колено. На сороковой поставила фонарь, вставила ключ в замок и повернула.

Петли не скрипнули. Их смазали, и недавно: на камне под дверью темнело свежее масляное пятно. Кто-то позаботился. Кто-то, кто знал, что она придёт ночью и что от скрипа у неё до сих пор, с войны, сводит зубы.

— Ну спасибо, — сказала Иссара в темноту лестницы, наверх. — Мог бы и сам прийти.

Наверху никто не ответил. Она и не ждала.

Внизу было сухо и холодно ровным, хорошим холодом, каким и должно быть там, где лежат мёртвые. Крипту строили на века. Шесть галерей расходились от круглого зала, как спицы колеса, и в каждой лежали свои: лекари Лазурной башни под синими плитами, рудознатцы Каменной — под серыми, Ветреные — под плитами с дырой посередине, чтобы ветер мог входить, ветреные всегда были с причудами. Седьмая галерея начиналась за низкой аркой. С завтрашнего дня арку заложат кирпичом. Постановление Совета, пункт девятый: «Прах изгнанных не тревожить и не почитать». Иссара сама слышала, как его читали. Голос у чтеца дрожал на слове «прах», и она тогда подумала, что мальчик, наверное, хороший.

Она прошла под аркой, пригнув голову, хотя арка была ей в самый раз. Привычка.

Здесь лежали свои. Двести пятьдесят лет Чёрной башни — магистры, адепты, служки, лодочники, которых башня брала в работу, потому что лодочники не боятся покойников. Саваны на всех шили в башне, и, проходя вдоль ниш с фонарём, Иссара узнавала руки. Вот это шила старая Мелле — у неё всегда выходил двойной стежок, мелкий, как просо. Вот это — кто-то торопливый, в войну: нитки разного цвета. А вот это шила она сама, сорок девять лет назад, и шов на подоле пошёл кривой, потому что у неё тогда тряслись руки.

— Добрый вечер, магистра, — сказала Иссара. — Простите, что поздно.

Магистра Оранна лежала на своём месте, в третьей нише справа, — маленькая под полотном, как девочка. Живой она тоже была маленькая. На плите над ней не было имени, только знак башни и пчела: её последняя причуда, которую Совет тогда не посмел оспорить.

Мёртвые в галерее не шевельнулись. Здесь давно никто не беспокоился. Иссара сама когда-то обходила эти ниши с фонарём и с каждым говорила, пока все не улеглись. Она прислушалась на всякий случай. Тишина стояла ровная и сонная, как вода в бочке.

Иссара села на край соседней плиты, поставила фонарь, развязала узелок.

В узелке лежали игольник, моток вощёной нитки, нож с костяной ручкой и свёрток в вощёной ткани, перевязанный бечёвкой. Ткань она вощила сама, последним воском пчёл Оранны. Воск пролежал полвека в сундуке и до сих пор пах липой.

С иглой вышло хуже всего. Ушко было маленькое, а глаза у Иссары стали плохие ещё десять лет назад, и левая рука почти не слушалась. Левая была серой до запястья — давно, с того самого года, и не болела, только мёрзла летом и не мёрзла зимой. Иссара послюнила

нитку, прищурилась и стала целиться. Промахнулась. Ещё раз. Ещё. На седьмой раз она сказала магистре всё, что думает об иголочных мастерах Стеклянной башни, которые делают ушки для молодых, и на восьмой попала.

— Вы бы сказали — сойдёт, — сказала она Оранне. — Это Мелле у нас говорила, что им на бал.

Ножом она подпорола подол. Свой собственный кривой шов полувековой давности, нитка за ниткой. Нитки рвались сухо и легко, полотно под ними за пятьдесят лет пожелтело и стало тонким, как луковая шелуха. Иссара просунула свёрток внутрь, к ногам магистры, и разгладила полотно ладонью, чтобы не топорщилось.

В свёртке была тетрадь. Сто двенадцать листов, исписанных с обеих сторон. На первой странице стояла одна строка, и Иссара написала её последней, сегодня вечером, у Северных ворот, на колене:

Кто найдёт — не сжигай.

Она подумала тогда, что надо бы приписать что-нибудь ещё — «прочти» или «положи на место» — и не стала. Кто поймёт первые четыре слова, поймёт и остальное. Кто не поймёт, тому и сто двенадцать листов ни к чему.

Иссара зашивала долго. Шов на этот раз вышел ровный: руки больше не тряслись. Тряслось что-то другое, где-то внутри, но рукам это не мешало. В конце она закрепила нитку мёртвым узлом — так его называли в башне. Такой узел не развязывают. Его можно только разрезать.

Наверху, над сводом, кто-то работал долотом. Удары доходили сквозь сорок ступеней камня глухо, как стук в дальнюю дверь. Иссара знала, что это. Совет велел, чтобы к утру над входом седьмой башни не осталось её имени, и каменщики работали ночью, при факелах. Тук. Тук. Тук. Одно имя, девять букв. Сколько ударов на букву, она не считала: не хотела.

Она убрала иглу в игольник. Отрезала хвост нитки. Положила ладонь, серую, на полотно — туда, где под ним лежали ноги магистры и тетрадь.

— Ну вот, — сказала она. — Теперь вы опять за старшую.

Мёртвые молчали. Им было хорошо.

Иссара взяла фонарь и пошла к арке, не оглядываясь, потому что если оглянуться, то потом приходится стоять и смотреть, а колено и так болело. На лестнице она снова считала ступени, вслух, назло пятидесяти годам.

На тридцать первой долото наверху стукнуло последний раз и затихло.

Утром над входом в седьмую башню камень был гладкий, светлее остальной стены. Через год он потемнел. Через десять лет никто уже не мог показать, где было имя.

Часть первая. Серое

Глава 1. Синяя дверь

День двадцать второй. Ветер северо-восточный, свежий. Снег. Вечером открылся огонь Чаячьего Мыса. Пассажир с рукой в рукавице стоит у кормы с полудня, на ужин не спускался. Ужин съел орк.

Мыс показался в сумерках, и первым показался огонь.

Железная жаровня на скале над бухтой, смола и плавник, а когда плавника нет — старые сети, которые жалко жечь, но жгут. В детстве Дейну казалось, что огонь горит не для кораблей, а для отца: чтобы отец в лодке знал, где дом. Теперь огонь горел для «Белой чайки», и снег летел сквозь него наискось, вспыхивал и пропадал.

Под кормой было тесно от мёртвых.

Не от многих — от троих. Он начал слышать их ещё за мысом, где из воды торчат Зубья, чёрные камни, на которых каждая третья зима кого-нибудь ломает. Слышал не ушами — серой ладонью под рукавицей, так через подошву слышно, что под половицей ходит мышь.

Первым делом он стал искать среди них женский голос и детский. Женский был. Детский был. Он вцепился в планширь обеими руками и слушал, пока не понял: женщина считает. Шепотом, как считают петли — двадцать одна, двадцать две, двадцать три, — и сбивается, и начинает снова. Мать никогда не вязала. Мать плела сети, а у сетей не петли, а ячеи.

Ребёнок был мальчишкой. Не четырёхлетним — постарше. И спрашивал одно и то же: *почему он отпустил*. Не плакал. Спрашивал, как спрашивают дорогу.

Третий молчал.

Дейн отпустил планширь. Внутри у него что-то разжалось, тёплое и стыдное: не они. Мара и Ива ушли, Урзаг их назвал, — значит, ушли. Он стоял и радовался, что под его родным мысом в ледяной воде лежат трое чужих, а не двое своих, и радоваться было гадко, и он всё равно радовался.

— Есть хочешь? — спросил за спиной Тим. — Орк доедает. Если хочешь, надо сейчас, потом будет поздно. Потом будут только кости, а кости он тоже доест, я видел.

— Не хочу.

— Я так и сказал. Я сказал: он не хочет, он смотрит на родину. — Тим встал рядом, сунул руки под мышки. Полурослик мёрз с самого Хельма и мёрз как-то обиженно, всем телом. — Это родина? Вон та скала?

— Вон та скала.

* * *

И отец.

Тобиас стоял чуть в стороне, в старом кожухе, без шапки, и глядел не на сына, а на сходни.

— Обледенели, — сказал он вместо здравствуй. — Сходни. Песком бы. Я песку принёс.

У ног его стояло ведро с песком. Тобиас нагнулся, взял горсть и стал сыпать на доски, мелко, аккуратно, чтобы ни одна доска не осталась голой, и сыпал до тех пор, пока Дейн не сошёл на причал. Тогда он выпрямился, отряхнул ладони о кожух и оглядел всех: сына, Урзага, под которым сходни отчётливо крякнули, эльфийку в капюшоне, гнома и полурослика с мешком больше самого полурослика.

— Лавок у меня три, — сказал Тобиас. — На пятерых мало.

— Я в сарае, — сказал Урзаг.

— В сарае лодка.

— Я и лодка, — согласился Урзаг.

Тобиас подумал и кивнул. Так и надо: к нему каждую зиму приплывают орки и просятся ночевать с лодкой.

Матрос бросил с борта конец. Рукавица скользила по мокрой пеньке; Дейн стянул её зубами и обмотал конец вокруг кнехта, двумя шлагами и третьим поверх, как отец учил, когда Дейну было шесть. Ладонь легла на мокрую верёвку серой стороной вверх, при свете фонаря.

Отец не отводил глаз от его руки ровно столько, сколько Дейн мотал конец.

— Песку мало, — сказал он. — Ещё схожу.

И пошёл за песком, хотя ведро было наполовину полное.

— Сапоги, оруженосец.

Ровена стояла на крыльце своего дома, у столба с колоколом, в кольчуге поверх рубахи. На одной ноге у неё был валенок, на другой шерстяной носок, а в руке — сапог.

— Ты обещал, — сказала она. — Мне их чистить некому.

Ровена сунула ему сапог, вынесла второй, ветошь и банку дёгтя, и он сел на ступеньку и стал чистить. Через двор было видно, как отец сыплет песок на сходни вторым слоем.

— Я слышала, — сказала Ровена. — Про Хельм. Ворон был, король старосте написал.

Дейн тёр голенище.

— Ты, говорят, короля отпустил. Мёртвого. Хорошо отпустил?

— Он сказал «тепло».

— Значит, хорошо. — Она забрала у него сапог, оглядела голенище и поставила на ступеньку. — А за холмами, в Ольховке, опять кладбище пожгли. Осенью. «Что сгорело — то не встанет». Тоже ворон рассказал.

Дейн дочистил второй. Ровена повертела его и поставила рядом с первым.

* * *

Когда Тобиас зажёг в сенях лучину, синий выступил из темноты — облупленный на нижней доске, где бьют ногами, и густой, свежий наверху. Краска была дорогая, с большой земли, и отец красил дверь каждую весну, хотя за год она облезала только внизу. Мать покрасила её в год, когда родился Дейн, — всю, — и отец красил всю.

Бран остановился на пороге, взялся за дверь и подвигал её туда-сюда.

— Висит криво, — сказал он. — Верхняя петля. Ось сточена, видишь, играет. И гвоздь не тот. Это не гвоздь, это позор. Кто ковал?

— Не трогай, — сказал Тобиас.

— Она так с Мары висит, — добавил он и покраснел, даже при лучине было видно: у отца краснели уши, сначала одно, потом другое. — Привыкли.

Бран убрал руку от двери. Подумал. Сказал «угу» тем голосом, которым гномы говорят «угу», когда не согласны, но спорить сейчас не будут, а будут потом, — и вошёл.

В доме сразу стало тесно. Лиэнна стояла посреди горницы, не снимая капюшона, под балкой, на которой сохли травы, оставшиеся с матери: никто их девять лет не трогал, они стали серыми и пахли пылью. Бран сел у печи греть руки, ворча, что кладка сырая. Урзаг стоял в дверях: дальше потолок был ему по макушку. Тим исчез — и нашёлся у печи, в горшках.

— Это у вас треска? — спросил он оттуда. — Вот это — треска? Её же надо… хозяин, вы её как вялите? Ветром или дымом? Потому что если дымом, то это не треска, а сапог. Я ничего не говорю. Я просто спрашиваю.

— Ветром, — сказал Тобиас.

— А почему тогда она как сапог?

Тобиас открыл рот, закрыл и пошёл смотреть треску. Через минуту они стояли над горшком вдвоём, полуросли к и рыбак, и спорили о соли так, что Брану пришлось отодвинуться. Отец спорил, оказывается, хорошо. При Дейне он никогда ни с кем не спорил: молчал или говорил о деле.

Ужинали поздно. Треску Тим всё-таки переделал, и она была уже не сапог, и отец ел её с лицом человека, который проиграл честно. После ужина Урзаг ушёл к лодке, Лиэнна села на лавку у окна, и Дейн полез за пазуху.

Письмо было мятое: размокло в тундре, высохло у костров Бастиона и снова размокло на «Чайке». «Отец. Я жив. Я теперь много где был». Список мест. Зачёркнутые строчки. А внизу — две строки, которые он дописал при свете Урзагова огня, когда огонь ещё был.

Он протянул письмо через стол.

— Это тебе, — сказал Дейн. — Отправить было неоткуда.

За пазухой, где лежало письмо, осталось второе — свиток, перевязанный шнурком, без печати. Его Дейн нёс не отцу. *Если встретишь — отдай*, сказал Иерарх Аврелий на альдербургской пристани и не сказал кому: оба знали.

Тобиас вытер руки о штаны, долго, хотя руки были сухие. Взял письмо. Развернул его у лучины, отодвинув на вытянутую руку, — глаза у отца стали дальнозоркие, этого Дейн тоже не знал. Читал он, шевеля губами. Дошёл до списка мест и усмехнулся. Дошёл до низа — и перестал шевелить губами.

Он сидел над письмом так долго, что Тим, мывший у печи миску, перестал мыть. Потом Тобиас встал, разгладил письмо на столе ладонью и вышел на двор. Хлопнула синяя дверь. Криво.

Его не было, пока догорала лучина. Вернулся он со снегом на плечах и на волосах, сел на своё место и взялся за миску, хотя миска была пустая.

Ясеневой колотушки, которая висела у двери на гвозде, сколько Дейн себя помнил, на гвозде больше не было.

— Рыбу глушить, — сказал отец, ни на кого не глядя. — Пригодится.

* * *

Снег кончился, луна светила на воду, как на жесть. От маяка до Зубьев было полверсты по гальке, вдоль кромки, где лёд нарос на камнях белыми юбками.

…двадцать девять, тридцать, тридцать одна…

Почему он отпустил?

Голоса не звали его. Они вообще никого не звали — так разговаривают те, кто давно не ждёт, что ответят. Женщина вязала: рук у неё не было, было только последнее, что руки делали, и они делали это девять лет подряд. Мужчина молчал, но молчал рядом с мальчиком, так что было ясно, чей он.

Дейн присел на камень у самой воды и снял рукавицу.

Холод пришёл в ладонь сразу. Не злой. Вежливый. Тот же холод, что тянул его за пальцы на перевале перед Бастионом: кто-то далеко на севере положил кончики пальцев ему на руку и ждал. Без слов.

Дейн мог их поднять — так же просто, как встать с камня. Позвать ладонью — и выйдут трое, по дну, которого там нет, и скажут свои имена. Мёртвые слушаются. Он помнил, как это было: седой матрос за кормой, образок в бороде, тишина в груди, когда всё наконец на своём месте.

Он надел рукавицу.

— Я завтра узнаю, как вас зовут, — сказал он морю. Вслух, потому что иначе было глупо. — Подождите ещё день. Вы девять лет ждали.

Тридцать восемь. Тридцать девять.

* * *

Мыс маленький: про то, что сын Тобиаса ночью сидел у Зубьев без рукавицы, знал смотритель маяка, а значит, все тридцать дворов. Сигурд пришёл, когда отец во дворе латал сеть, растянув её на кольях. Пришёл, как приходил каждую весну, — с двумя кистями, завёрнутыми

в тряпку, хотя до весны было три месяца. В памяти у Дейна Сигурд был огромный, рыжий, громкий. Теперь он был седой, а громкости не осталось совсем.

— Здорово, — сказал Сигурд. — Вернулся.

— Вернулся.

— Кисти вот, — сказал Сигурд, глядя на кисти. — Ворс посмотреть. Мышь погрызла одну. Думал, весной…

Он замолчал. Отец во дворе вязал узел на сети и не поднимал головы.

— Трое у Зубьев, — сказал Дейн. — Женщина, мужчина и мальчик лет десяти. Женщина вяжет. Мальчик спрашивает, почему его отпустили. Как их зовут?

Сигурд не стал отпираться. Он просто сел. Прямо где стоял, на чурбак у поленницы, с кистями на коленях, и сидел, как сидят люди, которые очень давно несли что-то тяжёлое и наконец увидели, куда его можно положить.

— Олав, — сказал он. — Бондарь. С Ракитного ручья, на большой земле. Ехал к нам бочки ставить, к засолке. И сын его, Эйви. Одиннадцать было. — Он переложил кисти с колена на колено. — Тора. Вдова Гудмунда, который в ту зиму утонул. Сети вязала, на ярмарку возила. Одна жила. Никого у неё.

— Их никто не поминает, — сказал Дейн. — Я слушал. Их никто ни разу не назвал.

— Жена Олава уехала с дочкой обратно на большую землю. На другой месяц. А Тору… — Сигурд пожал плечами. — Кому её. Я мог. Я не мог.

Узел у отца во дворе затянулся. Отец взял следующую ячею.

— Почему он спрашивает? — сказал Дейн. — Мальчик. Кто отпустил?

Сигурд крутил в руках кисти.

— Лодка легла сразу, — сказал он. — Это правда. Я всем так говорил, и это правда. Легла, и все в воду. Твою мать я видел, она Иву держала над головой, это тоже правда. Я ухватился за киль. Килем вверх она плыла, лодка, долго плыла, её потом на Зубья вынесло. Я держусь. И мальчишка за мной — сзади, за пояс. Обеими руками. — Сигурд показал, как: сжал кулаки у себя на животе. — А киль круглый. Двоих не держит, крутится. Нас кладёт в воду, раз, другой. Я думаю — сейчас перевернёт, и обоих. Он тяжёлый, в мокром. Я думаю…

Он не сказал, что он думает. Он разжал кулаки, палец за пальцем.

— По одному, — сказал Сигурд. — Четыре пальца. Он не кричал. Он только спросил. Вот это самое. «Почему». А я уже держался. А его уже не было. — Он поднял голову, но глядел не на Дейна, а во двор, на спину Тобиаса над сетью. — Я девять лет вашу дверь крашу. Думал, за Мару. За Иву. Что не удержал. А я не за них. Я за Эйви. Я её крашу, а он спрашивает.

* * *

Не огонь клана. Огня клана больше не было: горшочек Урзага, который он носил на поясе от самой степи, стоял на камне рядом, пустой, с открытой крышкой, и на дне его лежал пепел. Урзаг собирал плавник по берегу всё утро. От въевшейся соли плавник горит то зелёным, то синим, и Тим, увидев первый язык, сказал «ой» и спрятался за Брана.

— Это соль, — сказал Тобиас. — От соли так. Всегда так.

— Я знаю, что соль, — сказал Тим из-за Брана. — Я просто не люблю, когда огонь не того цвета. Я с этого года вообще огонь не очень люблю. Я его уважаю, но издали.

Народу на берегу было мало: отец, Сигурд у самой воды, пятеро да смотритель маяка, который глядел со скалы и делал вид, что не глядит.

Урзаг встал у огня без рубахи, на морозе, и от него шёл пар.

— Говори, — сказал он Дейну.

— Олав. Эйви. Тора.

— Олав. Эйви. Тора, — повторил Урзаг, неправильно, с орочьим придыханием, и все три имени у него вышли тяжёлыми, как камни. — Я на том корабле обещал вашему морю огонь клана. Огня нет. Есть этот. Он солёный, зато ваш. Морской.

И запел.

Пел он плохо, на одной ноте, как и в тот раз, на «Чайке», и громко — так, что отдавалось от скалы под маяком. Слова были орочьи, кроме трёх: *Олав. Эйви. Тора*. Пламя из плавника шло то синее, то зелёное и клонилось к морю, хотя ветер был с моря.

Дейн стоял, сняв рукавицу, и слушал воду.

Тора сбилась со счёта. Она дошла до семидесяти и остановилась, и Дейн ждал, что она начнёт снова, с единицы, как начинала девять лет, — а она не начала. Тишина там, где был её счёт, была такая, какая бывает, когда закрыли ряд и сняли работу со спиц. Молчавший мужчина вздохнул. Это был первый звук от него за сутки, и последний.

Мальчик спросил ещё раз. *Почему он отпустил?* И на этот раз в воде было что-то вроде ответа — не слова, просто тепло, как от руки, которую положили на голову. Может, отцовской. Может, Урзаговой. Может, того, кто сам разжал четыре пальца и теперь стоял по колено в ледяной воде у кромки, не замечая, что вошёл в море.

Потом стало пусто.

Не холодно — пусто. Так пусто бывает в доме, когда наконец ушли гости, которые засиделись, и ты стоишь посреди горницы и не знаешь, рад или нет.

Урзаг допел и стоял, тяжело дыша, и пар от него валил, как от загнанной лошади.

— Ушли? — спросил он.

— Ты не слышишь?

Урзаг подумал. Честно, как он всё делал: закрыл глаза, постоял, открыл.

— Нет, — сказал он. — Раньше у стены слышал. Без огня слышал. В лесу у вас за мысом слышал, когда шли от причала, — там лисица, старая, в норе. Сейчас — нет. Ни лисицы. Ни их. Ничего.

Он закрыл крышку горшочка и повесил его на пояс, рядом с колотушкой.

— Значит, этих последних, — сказал Урзаг. — Хорошо, что этих.

* * *

— Пусть Лиэнна, — сказал он. — Про лодку. Хозяин, вы не против? Она красиво. Не как Урзаг. Урзаг тоже красиво, но по-громкому.

Тобиас сказал, что не против, и уши у него опять покраснели.

Лиэнна сняла капюшон — впервые в этом доме — и запела.

Пела она почти без голоса, и всё равно сушёные травы под балкой на миг запахли не пылью, а мятой и чабрецом, как пахли при матери. Про лодку, которая плывёт по звёздам. Про сеть, которая полна. Про отца в море и про то, что бояться не надо, —

лодка всегда возвращается к утру.

Отец сидел у печи, опустив глаза на свои руки. Когда Лиэнна кончила, он сказал, не поднимая их:

— У нас не так пели.

— Слово одно, — сказал Тобиас, уже красный весь, до шеи. — Мара пела — не «возвращается». «Находит дорогу». Лодка всегда находит дорогу к утру. — Он потёр колено. — Это я так. Не мешайте. Вы красиво поёте. Это я просто.

Лиэнна спросила — очень серьёзно, как спрашивают мастера о секрете ремесла:

— А почему «находит»?

— Не знаю, — честно сказал Тобиас. — Так пели. Мать её пела, а ей её мать.

* * *

Совсем тихо, для себя. Дейн лежал на лавке, которую отец две недели строгал, — гладкой, как кость. Мотив шёл сквозь синие доски, ровный, тёплый, и под ним ничего не было слышно. Ни моря. Ни Зубьев. Ни того места подо льдом, далеко на севере, откуда кто-то трогал ему пальцы.

Он вышел. Лиэнна сидела на ступеньке, обхватив колени, и пела в сторону маяка. Увидела его — не оборвала, допела строку.

— Не пой, — сказал Дейн.

Она замолчала.

— Мне надо слышать, — сказал он. — Ушли или нет. Может, там ещё кто-то. За Зубьями. Под мысом. Я не знаю, сколько их тут за триста лет. А когда ты поёшь — я не слышу. Ничего. Только тебя.

Лиэнна сказала — не ему, кажется, а маяку:

— Песня как фонарь. Чем ярче, тем темнее за кругом.

— Я не про то.

— Я знаю, про что ты.

Она поднялась, отряхнула плащ и ушла в дом. Дверь за ней закрылась криво.

Дейн слушал на крыльце, пока не замёрзли ноги. Под мысом было тихо. Никто больше не считал и не спрашивал.

Утром, когда отец вышел колоть лёд у колодца, дверь висела ровно. Верхняя петля не играла. Кто-то ночью подтянул её на полоборота, и следов гномьих сапог в сенях не было, потому что гном, видимо, разулся.

Отец открыл дверь, закрыл. Открыл ещё раз.

* * *

Ели кашу. Тим сварил её на молоке, которое выпросил у соседки за байку про медоградских пчёл, и каша была такая, что даже Урзаг ел молча.

— В Чёрную башню, — сказал Дейн. — Он шестьдесят лет изучает смерть, он сам говорил. Пусть посмотрит. — Он положил на стол правую руку, без рукавицы. — Я хочу знать, кем становлюсь. Пока ещё есть кому знать.

Никто не сказал «не надо». Отец, сидевший у печи с кружкой, поставил её на лавку, не допив.

— Пять дней, — сказал Бран. — От Стылой гавани до гор. Пять дней на запад. Мы проплыли мимо. — Бран не поднимал глаз от каши. — Туман был, берега не видно. А я считал. — Он постучал пальцем по столу, как по карте. — Вот тут мы шли, а он вот тут сидит, в старых шахтах, в двух шагах. Тридцать лет я его искал, оруженосец, а прошёл в двух шагах и смотрел в туман.

— Ты сказал: сначала Бастион.

— Я сказал. Бастион был. — Бран поднял глаза. Сухие и злые. — А теперь Мордрейн. А потом ещё кто-нибудь. А Даргаст сидит и ждёт. Он умеет ждать, его научили. Я тоже научился. Только я старше.

— Мордрейн, — сказал Дейн. — Потом Даргаст. Обещаю.

— Гномы обещаний не считают, — сказал Бран. — Гномы считают дни.

Он ушёл во двор, и через минуту оттуда донёсся стук: гном колол дрова, хотя в поленнице их было на месяц.

Тим сидел над листом бумаги, сложенным вчетверо, и грыз карандаш.

— Бабушке, — пояснил он, не дожидаясь вопроса. — Я пишу, что у тебя на родине есть скала. Твёрдая. И что тут умеют вялить треску, но не умеют солить. И что орку подарили дубину и он теперь страшнее прежнего. — Он подумал. — Про утопленников не пишу. Она будет волноваться, а у неё от волнения голова кружится и от мёда. От мёда больше. — Он снова погрыз карандаш. — Я пишу, что у всех всё хорошо.

— У всех всё хорошо, — сказал Урзаг.

Тим внимательно оглядел его и записал.

Лиэнна сидела у окна и ела кашу маленькой ложкой. Когда Дейн встал из-за стола, она сказала, не поднимая глаз, обычным ровным голосом:

— До весны.

— Знаю.

* * *

Сольвен взяла воды и сказала, что дальше пойдёт в порт Пограничья — по слову короля. На причале опять стояли мужики с баграми, и мальчишка Хокона, и Ровена в кольчуге и сапогах — начищенных, плохо.

Отец пришёл последним. Он нёс горшок.

Горшок был глиняный, обвязанный по горлу тряпкой, и Дейн узнал его сразу: в таких возили с большой земли синюю краску. Тобиас поставил его на причал, на песок, которым два дня назад посыпал доски, и снял тряпку.

Краски было на треть.

— На одну весну хватит, — сказал отец. — Если не всю. Если только низ.

— Ты всю красишь.

— Всю, — согласился Тобиас. — Значит, на одну.

Он глядел на горшок, потом сыну в плечо — не на руку, на руку он не глядел ни разу за два дня после того первого раза у кнехта, — как смотрят на человека, когда смотреть в лицо трудно.

— Я вернусь, — сказал Дейн. — Проверю.

— Ты писал.

— Я помню, что писал.

— Ну вот, — сказал Тобиас. И замолчал, потому что всё сказал.

По гальке от посёлка шёл Сигурд. Медленно, с кистями под мышкой — как ходил каждую весну. Остановился у начала причала, не дойдя.

Тобиас обернулся к нему.

— Весной приходи, — сказал он громко, на весь причал, чтобы слышали мужики с баграми, и Ровена, и мальчишка Хокона, и смотритель маяка на скале. — Краски на одну весну. Вдвоём быстрее.

Сигурд кивнул и ушёл обратно, не оглядываясь, и спина у него была прямее, чем когда он шёл сюда.

Дейн поднялся по сходням последним. «Чайка» отвалила и пошла к выходу из бухты мимо Зубьев, и под Зубьями было тихо. Маленькая фигура на причале не уходила. Рядом с ней стоял горшок.

Сольвен у штурвала что-то писала в журнал, прижав его коленом к нактоузу.

— Про старика с горшком пишете? — спросил Тим, подойдя к ней греться. — Это примета? Это к чему? Если к хорошему, напишите, что к хорошему. Если к плохому — не пишите.

— Я не верю, — сказала капитан. — Я записываю.

День двадцать четвёртый. Ветер северный, ровный. Вышли с Чаячьего Мыса на рассвете. Пассажиров пятеро, все на борту. Старик на причале стоял с горшком, пока не обогнули мыс. У Зубьев вода спокойная. Пассажир с рукой в рукавице впервые за весь путь ушёл с кормы до полудня и спал.

Глава 2. Праздник Семи Башен

Академия Семи Башен. Тысяча триста лет назад.

Пчёлы магистры Оранны просыпались раньше всех в Академии и вставали в дурном настроении.

Иссара знала это по себе: в первую неделю ученичества её ужалили четыре раза, и все четыре — до рассвета. Теперь она поднималась на крышу Чёрной башни в темноте, босиком, чтобы не стучать сапогами по черепице, с ведёрком тёплой воды и с куском сот за щекой — пчёлы, по словам магистры, не жалят тех, кто пахнет их же мёдом. Магистра врала. Но соты были вкусные.

Ульев на крыше было одиннадцать, крашеных в разные цвета. Синий улей злой. Жёлтый ленивый. Красный, как сказала однажды магистра, «вылитый Совет: шумит, а мёда нет».

Магистра стояла у парапета в ночной рубахе и шерстяной накидке, лицом на восток, где за городом поднималась светлая полоса. Глаза у Оранны давно стали молочные, как вода, в которую капнули молока. Она слушала.

— Ты опоздала, — сказала она, не оборачиваясь.

— Я пришла раньше солнца, магистра.

— Солнце сегодня тоже опоздало. Праздник. Все спят. — Оранна повела носом. — Соты за щекой?

— Да.

— Дай.

Иссара отломила половину и вложила ей в ладонь — маленькую, сухую, с ожогом через всё запястье: память о какой-то из войн, о которых Оранна рассказывала охотно, но всегда разное.

— Посчитай мне синий, — сказала магистра, жуя. — Они ночью гудели. Не нравится мне, когда синий гудит ночью.

Иссара села на корточки у синего улья. Пчёлы выползали по одной, сонные, злые, и она считала вслух — от этой привычки её отучали и отец, и мать, и наставники, и никто не отучил.

— …двадцать шесть. Двадцать семь. Магистра, они все на север смотрят.

— Пчёлы не смотрят.

— Ну, ползут. На северный край летка. Все.

Оранна сказала, что на севере в этом году рано зацвела липа, вот они и тянутся, и что Иссара — дочь лодочника и в пчёлах понимает столько же, сколько синий улей в лодках. Это была правда. Иссара обиделась для порядка и стала мыть поилку.

С крыши Чёрной башни был виден весь город — она стояла на холме выше всех, и ниже всех её любили. Внизу, в кольце стен, поднимались остальные шесть: Огненная, рыжая, с медными крышами; Лазурная, вся в галереях, с садом на каждом ярусе; приземистая Каменная; Ветреная с флюгерами в два человеческих роста; Стеклянная, где по ночам в окнах вспыхивали мастерские; и Высокая — тонкая, белая, в самой середине круга. Двести лет назад семь магов поставили здесь семь камней, и сегодня город праздновал это так, как будто сам их и поставил.

На площади Основателей уже вешали фонари.

— Сегодня Совет, — сказала Оранна. — После полудня. Пойдёшь моими глазами.

— Я? А мастер Хадрам?

— Хадрам будет молчать. Ему завтра в дозор, он с вечера в обете. А мне надо, чтобы мне читали вслух. — Магистра дожевала соты, вытерла пальцы о накидку. — И чтобы мне шептали, кто какое лицо делает. Ты хорошо шепчешь. Злобно.

— Я не злобно, магистра. Я точно.

* * *

Мастер Хадрам стоял посреди двора с двумя учебными шестами и молчал.

Он был из тех, по кому не скажешь возраста, с бритой головой и руками, серыми до локтей. Серыми в Чёрной башне становились у многих, и у всех по-разному: у кого кончики пальцев, у кого ладонь, у кого, как у Хадрама, руки целиком, словно он долго держал их в холодной золе. В нижнем городе Безмолвных звали молчунами. В глаза не звали.

Хадрам бросил ей шест. Она поймала.

— Доброе утро, мастер, — сказала Иссара. — Я на крыше была, у магистры. Синий улей ночью гудел. Магистра говорит — к липе.

Хадрам ударил.

Она отбила, ушла влево, отбила второй раз, и шест у неё в руках загудел, как синий улей. Хадрам дрался без лишнего: каждый удар — туда, где она будет через миг, а не туда, где она есть. Иссара это знала. Знать было мало.

— Мастер, вы не могли бы помедленнее, я хотела спросить…

Шест прошёл у неё под коленями, и она села на камень с куском имени — «…ДОРА, ЛЮБИМАЯ…» — так, что лязгнули зубы.

Хадрам постоял над ней. Потом постучал концом шеста по камню три раза — тук, тук, тук — и показал на её рот. Она поняла и без перевода.

— Я не могу молчать, — сказала Иссара с камня. — Вы же знаете. Я считаю вслух. Я сплю вслух, девочки жалуются. Мне в Безмолвные нельзя, я лопну.

Лицо у Хадрама было неподвижное, как у всех, кто в обете, — и всё равно ему было смешно, это сидело где-то в углах глаз. Он протянул ей руку. Рука была холодная.

Потом он снял со стены факел, горевший с ночи, воткнул его в щель между плитами и вынул из ножен свой клинок. Клинки Безмолвных ковали из мёртвого железа — из гвоздей старых гробов, которые башне отдавали кладбищенские сторожа со всего города, — и клинок был тусклый, без блеска, как пруд ночью.

Хадрам положил клинок плашмя на огонь.

Ничего не зашипело. Пламя не погасло сразу — оно сначала побледнело, как бледнеет человек, которому сказали дурную весть, потом пошло серебром по краям, потом стало прозрачным, и сквозь него стало видно стену. Иссара стояла в трёх шагах, и кожа лица у неё только что грелась — и перестала. Огонь ещё горел, но уже не жёг. Ещё через миг он лёг на смолу и кончился.

На клинке выступил иней.

Хадрам вытер его о рукав, вложил клинок в ножны и поднял бровь. Это был вопрос.

— Смерть кончает горение, — сказала Иссара то, что им твердили с первого года. — Огонь живой, значит, огонь умирает. Мы не тушим. Мы провожаем.

* * *

Внизу был праздник.

Ильма в праздник становилась улицей: по лодкам, стоявшим от берега до берега, переходили реку с визгом, с бутылками, с детьми на плечах. Ветреная башня пустила над рекой змеев: бумажные рыбы, бумажные птицы, огромный бумажный кит, который плыл над крышами и держал в зубах верёвку от флюгера. Стеклянные мастера продавали с лотков вестников-однодневок — стеклянных воробьёв, которые долетали до соседней улицы и рассыпались там в цветную пыль, и дети гонялись за пылью.

Отец Иссары стоял в своей лодке у Лодочных ступеней и перевозил людей с берега на берег бесплатно, как в каждый праздник. Люди всё равно садились к старому перевозчику, который двадцать лет возит покойников на кладбище за рекой и ни разу ни одного не уронил.

— Дочь, — сказал он, увидев её. — Ты хромаешь.

— Я упала на любимую.

Отец подумал и решил не спрашивать. Когда девять лет назад к ним в дом пришёл человек в чёрном и сказал, что девочка слышит тех, кого везут через реку, и что ей надо в башню, отец тоже ничего не спросил. Только перевёз их обоих на ту сторону сам и денег не взял.

— Садись, — сказал он теперь. — Покатаю.

— Пап, мне некогда. У меня Совет.

— У тебя? — Отец поднял брови.

— У магистры. Я — глаза.

Отец кивнул, будто она сказала ему что-то важное про течение, и оттолкнулся веслом.

— Иссара-а-а!

Кесс шла к ней прямо по лодкам, не выбирая, на какую ступить, в синем платье Лазурной башни, подоткнутом до колен, и в каждой руке у неё было по пирожку. Кесс говорила, что лекарке нельзя быть голодной — голодный лекарь лечит злее.

— Ты знаешь? — сказала Кесс, спрыгивая на ступени и отдавая ей один пирожок, уже надкушенный. — Ты не знаешь. Никто не знает, а я знаю. Огненные просят на Совете экспедицию. На север. Мне сказала Тиля, ей сказал её брат, он у Валтаза в писцах, переписывает прошение. У брата, говорит, от этих слов изжога.

— Какие слова?

— «Источник». «Первородный». «Навеки». — Кесс откусила от своего пирожка. — Слово «навеки» там четыре раза. Я считала, когда он рассказывал. То есть Тиля считала. Это капуста, кстати. Ты не любишь капусту?

— Люблю.

— Тогда отдай, я свой доела.

Иссара отдала. Они сели на ступени, свесив ноги над лодкой какого-то торговца, и Кесс стала рассказывать, кто с кем вчера целовался на Свечной лестнице, и как магистра Каменной башни уронила в реку очки, и как в Лазурной вторую неделю лежит мальчик с горячкой, которую никто не может сбить, и как она сама ночь не спала у его постели, — и всё это одним голосом, без перехода, так что не сразу было понятно, где сплетня, а где мальчик.

— Сбили? — спросила Иссара.

— Сбили, — сказала Кесс. — Утром. Я поэтому такая счастливая. — И доела второй пирожок.

Над рекой ахнули.

Огненная башня начинала свою часть праздника раньше всех, ещё днём. С медных крыш в небо поднимались огненные птицы. Не иллюзии: живой огонь, свитый в крылья, — они летели над рекой, и от них шло тепло, и бумажный кит Ветреной башни шарахался от них, как настоящий.

Одна птица отбилась от стаи, сделала круг над Лодочными ступенями и села Иссаре на колено.

Кесс взвизгнула и отскочила. Птица перебирала огненными лапами и не жгла. Грела, как кошка.

— Не бойся, — сказал сверху Эрван. — Она к тебе одна такая.

Он спускался к ним по ступеням, рыжий, как его башня, в праздничной мантии, из которой вырос ещё в прошлом году: «мантия как мантия, а портной дорогой». Пальцы у него были в волдырях: птиц вязали руками. Лучший ученик Валтаза — это знала вся Академия, и сам Эрван тоже знал, но говорил об этом так весело, что на него нельзя было обидеться.

— Я её всю ночь вязал, — сказал он, садясь рядом. — Хвост не получался. Видишь, хвост кривой? Это я вспомнил, как ты смеёшься, и рука дрогнула.

— Ты вспомнил, как я смеюсь, — сказала Иссара, — и связал птицу с кривым хвостом.

— Да.

— Это очень обидно, Эрван.

— Знаю. — Он улыбнулся. Птица на её колене повернула к нему огненную голову. — Посиди с ней. Она скоро догорит. Мне хочется, чтобы она догорела у тебя.

Кесс перевела глаза с него на Иссару и обратно, сказала «ой», вспомнила, что ей срочно нужно ещё пирожок, и ушла по лодкам.

Птица догорала долго: сначала кривой хвост, потом крылья, потом остался только тёплый уголёк сердца. Иссаре хотелось положить на неё ладонь — проводить, как учили, — и она не положила: это был не мертвец, это была работа Эрвана, и он смотрел.

— Слышала про север? — спросил он.

— Кесс слышала.

— Значит, весь город слышал. — Эрван засмеялся. — Учитель сегодня просит Совет. Мы пойдём туда, где Завеса тонкая. Туда, откуда всё началось. Говорят, там огонь до сих пор выходит из земли сам, без дров, без угля, — и не гаснет. Никогда. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. — Он сказал это без обиды, тепло. — Если найти, откуда он берётся… если понять… Иссара, тогда никто больше не будет гаснуть. Ни огонь. Ни люди. Ни…

Он не договорил. Иссара знала, кого он не договорил.

Уголёк на её колене моргнул и погас, не оставив даже пепла.

Она хотела сказать ему, что всё гаснет. Что это не горе, а порядок. Что она сама полгода назад провожала его брата, Рамиса, девятилетнего, сгоревшего от лихорадки за четыре дня, и что Рамис ушёл хорошо, держась за её палец, и сказал перед самым концом, что ему уже не жарко. Что огонь, который не гаснет, — это не жизнь.

Праздник. И он так радовался.

— Мне на Совет, — сказала Иссара и встала. — Я глаза магистры.

— Тогда смотри на учителя хорошо, — сказал Эрван. — Он будет говорить красиво. Я ему полночи помогал речь писать.

— Слово «навеки» там четыре раза?

Эрван открыл рот. Закрыл.

* * *

Кресло Чёрной башни было с краю от двери, под окном, в котором качался тёмный шпиль на холме. Иссара стояла за ним с листами в руках и шептала магистре в ухо.

— Валтаз встаёт. В красном. Новый перстень, с камнем, как вишня. Улыбается всем по очереди. Вам — последней.

— Это он вежливо, — сказала Оранна, не понижая голоса. — Последнее — самое сладкое.

Глава Огненной башни услышал и улыбнулся ей ещё раз, отдельно.

Валтаз говорил хорошо, и Иссара разозлилась на себя, что это признаёт. Он говорил о двухстах годах Академии. О семи камнях. О том, что всё, чем они живут — тепло в домах, свет в окнах, жар в горнах Каменной башни, — всё это огонь, а огонь у них берётся взаймы: каждый уголь кто-то должен зажечь, и каждый огонь однажды гаснет.

— А где-то, — сказал Валтаз, — есть огонь, который не берут взаймы.

Он рассказал о севере. О старых записях Основателей, в которых говорилось о месте за краем мира, где Завеса между миром и тем, что было до мира, тонка, как ткань, вытертая на локте. О том, что оттуда, по преданию, пришёл первый огонь. О том, что Огненная башня просит у Совета людей, припасы и благословение, чтобы дойти туда, взглянуть и вернуться.

— Только взглянуть, — сказал он. — Навеки запомнить то, что увидим.

Иссара наклонилась к уху магистры.

— Первое «навеки», — прошептала она.

Оранна чуть заметно шевельнула губами — то ли усмехнулась, то ли сосчитала.

Потом говорили другие. Магистра Каменной башни, широкая, с рыжей косой, спросила про руду: если там огонь из земли, значит, там и металл, какого не видели. Ветреная башня спросила про погоду на севере и пообещала вестников. Стеклянная — про то, можно ли этот огонь принести в стеклянном сосуде, и Валтаз ответил, что для этого и нужна Стеклянная. Лазурная, главная лекарка, высокая женщина, у которой Кесс училась и которую Кесс боялась больше пожара, спросила, сколько людей пойдёт и сколько вернётся, и ей не ответили.

Архимагиня Даэра слушала молча. Она сидела в кресле Высокой башни, напротив двери, и за её спиной в окне был виден весь город. Ей было лет пятьдесят, у неё было спокойное, некрасивое, очень внимательное лицо, и пальцы её, пока все говорили, перебирали на коленях что-то вроде чёток. Нет — узелки на шнурке. Даэра завязывала узелок после каждой речи.

— Даэра считает, — прошептала Иссара. — Узелками.

— Голоса, — сказала Оранна. — Она всегда сначала считает, потом слушает. Читай мне, что там у них в прошении. Где про Завесу.

Иссара нашла лист и прочла вслух — тихо, но в зале было тихо, и её слышали все. «… место, где Завеса тонка не от ветхости, ибо Завеса не ветшает, а от иного: там она словно бы сшита из двух кусков, и шов этот…»

— Стоп, — сказала Оранна.

Магистра Чёрной башни поднялась. Она была маленькая и в кресле казалась ещё меньше, а встав, вдруг оказалась вровень со всеми — так она стояла, прямо, как стоят на стене, когда внизу враг.

— Шов, — сказала она. — Валтаз, ты сам писал или мальчик твой рыжий?

— Мы писали вместе, магистра.

— Хорошо писали. Честно. — Оранна повернула незрячее лицо к окну, за которым качался чёрный шпиль. — Я старая. Я была на двух войнах. Знаешь, где тонко у человека? Там, где шили. Там, где его уже один раз зашивали. Рубец всегда тоньше кожи. Если Завеса там как шов, значит, там уже было то, что потом зашили. Значит, кто-то это видел до нас. И зашил. И не оставил нам записки, куда ходить можно, а куда нельзя. Может, потому что не успел. А может, потому что записка была: «не ходи». Одно слово. Твои Основатели его не записали, а я им за это не судья.

— Магистра, — сказал Валтаз мягко, — мы не собираемся ничего распарывать. Только взглянуть.

— Ты у портного часто бывал, Валтаз? — спросила Оранна. — Видел, как смотрят на шов? Пальцем. Сначала смотрят пальцем.

Кто-то из Ветреных засмеялся и тут же замолчал.

— Чёрная башня против, — сказала Оранна и села.

Голосовали поднятой рукой. Огненная — за. Каменная — за. Ветреная — за. Стеклянная — за, и мастер Стеклянной, поднимая руку, виновато покосился на Оранну, хотя та не могла этого увидеть. Лазурная не подняла руки ни за, ни против; главная лекарка сказала, что Лазурная пойдёт туда, куда пойдут раненые, и больше ничего говорить не будет.

Даэра завязала последний узелок и подняла руку.

— Высокая — за, — сказала она. — С условием. Экспедиция идёт без шума. Без глашатаев на площади, без птиц над рекой. Город знает, что Огненные ушли на север изучать снег. Если там ничего нет — над нами никто не будет смеяться. Если там что-то есть, — она чуть помедлила, — тем более не нужно, чтобы об этом знали все.

Пять — за. Одна — против. Одна — никак.

Оранна сидела неподвижно, с руками на коленях. Большой палец магистры лёг на старый ожог на запястье и тёр его, круг за кругом, — так трут место, которое ноет к погоде.

После Совета, когда все уже вставали, Даэра подошла к креслу Чёрной башни и остановилась так, чтобы Оранна могла слышать её дыхание.

— Хорошо, что ты была против, — сказала архимагиня негромко.

— Зачем?

— Для летописи. — Даэра чуть наклонила голову. — Когда-нибудь кто-нибудь спросит, был ли кто-то против. Хорошо, если будет кто ответить: был. Чёрная башня.

— Записывай, — сказала Оранна. — Я разрешаю.

Даэра ушла. Иссара не могла решить, что это было — подлость или забота, и шепнула это магистре.

* * *

Это была их часть праздника — последняя, когда огненные птицы уже догорели, а свечи на Свечной лестнице оплыли до половины. Город сходился на площадь Основателей, без музыки. Безмолвные выстраивались в два ряда у Камня Основателей, а адепты по очереди поднимались на камень с длинным свитком и читали вслух имена всех, кто умер в Академии за год. Магов и нищих, детей и стариков, утонувших в Ильме и замёрзших у городских ворот. Мёртвый, которого не назвали, не уходит: стоит и ждёт, пока позовут. Чёрная башня называла всех.

В этом году первой читала Иссара.

Перед ней лежала площадь — тысячи тихих лиц в свете фонарей. Справа белела бритая голова Хадрама. Внизу, у колодца, мелькнуло синее — Кесс, наверное, с пирожком. Далеко, у Свечной лестницы, она угадала рыжее.

Имена шли одно за другим, и площадь повторяла их шёпотом, как повторяют за священником. Старый Ульмар, пекарь. Девочка двух лет, дочь Тессы-прачки. Безымянный нищий с Мостовой, имя которого Чёрная башня искала два месяца и нашла — Хенн, его звали Хенн, он был когда-то кожевником, — и Иссара прочла «Хенн», и что-то на площади облегчённо легло, словно человек снял с плеч мешок, который слишком долго держал. Она не остановилась. Так было каждый год: кто-то всегда уходил в эту ночь.

Потом она дошла до середины свитка.

«Рамис, сын Аррена, Огненная башня, ученик. Девяти лет».

Она прочла это ровно. Так учили: ровно, без голоса, чтобы мёртвый слышал имя, а не горе.

— Рамис, — повторила площадь.

Рамис ушёл полгода назад, держась за её палец, и ушёл хорошо. Но у Свечной лестницы рыжая голова опустилась, и не поднималась, пока Иссара не дочитала свиток до конца и не передала его следующему адепту.

Она сошла с камня. Ноги у неё дрожали, хотя читала она уже не в первый раз, просто первой — в первый.

Эрван ждал её у подножия лестницы, привалившись плечом к столбу с фонарём, без мантии — где-то он её бросил.

— Ты хорошо прочла, — сказал он.

— Нас так учат.

— Я знаю. Учитель сказал после Совета, что я иду. На север. Я первый в списке. Сразу после него.

— Ты считаешь, это плохо, — сказал Эрван, когда она промолчала. — Ты на Совете стояла за креслом своей магистры и считала, сколько раз учитель сказал «навеки».

— Один.

— Мы писали четыре. — Он вдруг засмеялся, тихо, без веселья. — Он три вычеркнул. Сам. Сказал — много.

Свеча на ближней ступени догорела и погасла. Потом следующая. Ветер с реки шёл вверх по лестнице и гасил их одну за другой, и никто их не зажигал: праздник кончался.

— Чтобы никто больше не гас, — сказал Эрван. — Вот и всё. Больше я ничего не хочу.

* * *

Оранна сидела у синего улья, закутавшись в накидку, и слушала.

— Гудят? — спросила Иссара.

— Гудят, — сказала магистра. — На север.

Иссара села рядом с ней на холодную черепицу. Внизу, на площади Основателей, дворники сметали в кучи огарки.

— Магистра, — сказала она. — А если они найдут? То, что за швом?

Пчёлы в синем улье гудели ровно и низко, на одной ноте, как поёт плохой певец.

— Тогда, — сказала магистра, — придётся провожать. — Она нашла в темноте руку Иссары и похлопала по ней сухой ладонью, раз и другой. — Учись шить, девочка. Мелле тебя ждёт с понедельника. У неё двойной стежок, мелкий, как просо. Я хочу, чтобы ты так умела.

— Зачем? Я в Безмолвные хочу.

— В Безмолвные ты не хочешь, — сказала Оранна. — Ты лопнешь. Мне Хадрам сказал.

— Он же в обете.

— Он постучал, — сказала магистра. — Три раза. Я его тридцать лет знаю, я понимаю, когда он стучит «лопнет».

Иссара засмеялась — громко, на всю крышу, и синий улей обиженно загудел громче, и одна пчела, самая злая, вылетела из летка, покружила у её лица, раздумывая, и полетела прочь.

На север.

Глава 3. Чёрная башня

День тридцатый. Восточная гавань. Ветер западный, слабый. Ошвартовались в полдень. Пассажиры сошли все пятеро. Орк на причале встал на колени и потрогал доски ладонью. Гном сказал корабелам гавани, что у них течёт кнехт. Кнехты не текут. Полурослик оставил на столе в каюте горшок мёда и записку: «Капитану. Не к приметам. Просто так». Записываю как есть.

На тракте лежал снег, и снег был чужой.

На Мысе он приходил с моря, мокрый, косой, и к утру превращался в кашу на гальке. Здесь он лёг на поля сухой, как мука, и не таял даже в полдень. Урзаг шёл первым и протаптывал, потому что ему было всё равно, а остальным — нет.

Лошадей в гавани не взяли: староста просил за пять лохматых лошадок втрое против осени, и Тим ушёл, сказав, что за такие деньги лошадь должна сама нести седока на руках. Лиэнна шла легко и не проваливалась, и это злило всех, кроме Дейна.

На четвёртый день, к вечеру, показался частокол Тихого Брода, и над частоколом — дымы, ровные в безветрии, как свечи. Тим остановился на пригорке, пока его не обогнал Бран.

— Ты чего?

* * *

Венков было столько, что каменные руки, висящие вдоль тела, казались двумя рябинами. Старые, осенние, побурели и смёрзлись, поверх кто-то навешал новые — из сушёных гроздьев, крашеной соломы и лоскутов. В снежную шапку на каменной макушке воткнули еловую ветку, для красоты или для смеха.

Двое ребятишек в огромных отцовских тулупах стояли у его ноги и спорили, чья очередь лезть. Завидев орка, они спрятались за каменную ногу. Потом один высунулся.

— Это ваш, — сказал он. — Он за вами пришёл. Нам дядька Бэрри говорил.

Урзаг стоял перед големом, лицом к двум пустым прорезям на каменном кубе. В степи, когда орк проходил мимо, в прорезях загорелся тусклый синий свет, и голова со скрежетом повернулась за ним. За его огнём. Голем шёл за этим огнём через всю степь, пока не упёрся в частокол Тихого Брода, и встал здесь, потому что огонь ушёл за море, туда, где камню не пройти.

Теперь в горшочке на поясе у Урзага лежал пепел. Прорези были тёмные. Голова не повернулась.

Урзаг протянул руку и снял с каменного запястья один смёрзшийся венок. Ягоды осыпались ему на сапоги. Ребятишки за ногой голема затаили дыхание: венки трогать было нельзя, их вешали, а не снимали.

— Мёрзлые, — сказал Урзаг ребятишкам. — Тяжело ему. Есть свежие?

Свежих не было. Старший мальчишка подумал и стянул с себя шарф — красный, вязаный, в белую полоску. Урзаг взял, подержал в огромной лапе, как держат пойманную птицу, и завязал на каменном запястье. Узлом, каким в степи вяжут конскую упряжь: чтобы не развязался сам и легко развязался, когда надо.

— Мать заругает, — сказал мальчишка, и было видно, что ему всё равно.

— Скажи — орк забрал, — сказал Урзаг. — Пусть мне ругается.

* * *

— Вернулись, — сказал Борис. Голос у него сел, и он откашлялся. — Пятеро. Все. Я говорил. Я говорил: вернутся, все. Ты, Мартын, говорил — не все, а я говорил — все.

Мартын, сторож у ворот, сказал, что ничего такого не говорил. Борис махнул на него шапкой и полез обниматься. Обнял Тима, оторвав от земли. Обнял Брана, хотя Бран стоял прямо, как столб. Урзага, примерившись, просто похлопал по животу. Перед Дейном замялся.

— Руку-то, — сказал он. — Руку дай.

Дейн протянул левую. Борис перевёл глаза на правую, в рукавице, и обратно — он был деревенский староста, а не дурак — и пожал левую.

— Квас, — сказал он. — Квас у меня стоит. С осени ещё. Вы ж писали, к весне, а Тимка писал — к зиме, ну я и поставил на всякий случай.

Квасом он был, судя по всему, недели две, где-то в начале осени. Потом он стал чем-то другим. Борис нацедил всем по кружке. Тим отпил, и глаза у него сделались круглые. Бран отпил, подержал во рту, проглотил и сказал:

— Перестоял.

— Перестоял, — согласился Борис горестно. — Я его, понимаешь, на всякий случай…

— Хороший, — сказал Урзаг и выпил свою кружку до дна. Потом Тимову. Потом покосился на бочку.

Борис просиял.

Вечером в таверне было тесно. Пришли все, кто мог ходить, и пришёл дядя Бэрри, который ходить ещё толком не мог, — его привёз на санках Гррм.

Тролль за осень ещё больше растолстел на деревенской репе и в двери таверны не пролез. Он сел снаружи и заглядывал в окно жёлтым глазом, а в стекле от его дыхания протаяло круглое пятно. Тим выбежал к нему без шапки, и тролль сгрёб его в охапку и держал, а Тим что-то говорил ему в огромное серое ухо, заросшее мхом.

Дядя Бэрри был маленький, сухонький, с перевязанными ногами, и говорил без остановки. Про ноги. Про репу. Про кузнеца Луку, который сперва боялся Гррма, а потом приспособил таскать наковальню и теперь не отдаёт.

Тим сидел рядом и держал дядю за рукав. Не за руку, за рукав, как держался, должно быть, лет в пять, когда дядя Бэрри уезжал с обозом и обещал привезти бусы. Тим молчал весь вечер — и, наверное, первый раз молчал не потому, что обиделся.

Дейн сидел в углу, в том же, что осенью. Ладонь под рукавицей молчала. Под Тихим Бродом лежал весь курганный народ Костяного Короля, но сон у них был ровный, глубокий, как вода в колодце, и никто не звал. Здесь было кому стеречь.

* * *

Бран зашёл в кузню и не нашёл там никого, кроме остывающего горна и кузнеца Луки — огромного, рыжего, с подпалённой бородой.

— Хеги-то? На север смотрит, — сказал Лука. — Каждый вечер выходит. Я ему говорю: дурень ты гномий, они ж морем вернутся, с востока. А он своё. Вы ж с севера уходили, он и ждёт с севера.

На дороге, за последним плетнём, стоял седой гном без шапки, с руками, засунутыми под мышки. Бран подошёл и встал рядом, плечом к плечу, лицом туда же — на север, в темноту.

Лука потом божился, что вышел не подслушивать, а за дровами. Дрова у него лежали у самого плетня.

Гномы стояли там, пока не замёрзли. Потом Хеги, не поворачивая головы, сказал:

— С востока.

— С востока, — сказал Бран.

— Морем.

— Морем.

Хеги пошёл к кузне, Бран за ним. В кузне Хеги раздул горн — два коротких, один длинный, как тридцать лет, — и выволок из-под верстака мешок. Мешок звякнул.

Там были ледоходы — железные подковки с шипами, которые подвязывают к сапогам ремнями. Пять пар. Гномья, Бранова: ремни новые, сыромятные, ещё пахнут дубильней. Огромная, на сапог, который Хеги никогда не мерил, только видел. Узкая, лёгкая. Человечья. И пятая — маленькая. Шипы аккуратные, ремешки тонкие, на пряжке выбит цветочек.

— Тиму велико будет, — сказал Бран и повертел пряжку. — Он мелкий. Мельче, чем ты думаешь.

Хеги взял маленькие шипы и молоток. Он перебивал пряжку до полуночи, хотя пряжка была хорошая. Бран стоял на мехах. Про Даргаста, про Стылую гавань, про пять дней на запад, мимо которых проплыла «Чайка», Бран рассказал Хеги где-то посередине, между двумя нагревами. Хеги дослушал, сунул пряжку в воду, и вода зашипела.

— Пойдёшь, — сказал Хеги. Не спросил.

— После Мордрейна.

* * *

Лёд лёг на неё ровный, тёмный, ещё тонкий у берегов. Брод, где под камнем лежала Печать, замело, и только по вешкам было видно, где тропа. У самой воды лежали два больших камня. Осенью на одном из них сидела эльфийка, обхватив колени, и пела.

Лиэнна сидела на своём камне. Дейн смёл снег с соседнего и сел. Как в первый день.

— Здесь можно? — спросила Лиэнна.

С той ночи на крыльце отцовского дома она при нём не пела. Ни на корабле, ни на тракте, ни сегодня в таверне, где её просили трижды.

Он послушал. Подо льдом шла вода, под водой лежал камень, под камнем — Печать, а глубже спал курганный народ, и над ним, не во сне, а в чём-то вроде бодрствования с закрытыми глазами, сидел тот, кто стерёг их всех. Костяной Король не позвал Дейна. У него была служба.

— Можно, — сказал Дейн.

Она запела тихо, без слов, и Дейн узнал мелодию через три ноты. Лодку по звёздам. Мать пела. Сэлвине Ардейн её пели мёртвые муж и дочь. И Лиэнна пела, на этом камне, осенью, когда он ещё не знал её имени.

Под песню мёртвых стало не слышно. Ладонь под рукавицей сначала заныла, как ноет онемевшая нога, когда к ней возвращается кровь, а потом стала просто ладонью. Тёплой. Дейн боялся пошевелиться.

Дойдя до места, где у матери было «находит дорогу к утру», Лиэнна задержалась на нём, как задерживают руку на тёплом, и замолчала.

Дейн снял рукавицу. На морозе серое стало ещё серее, а золото в середине — с горошину — темнее, цвета мёда на просвет. Лиэнна отвела глаза на реку.

— Завтра — к нему, — сказала она.

— Завтра.

— Я с тобой.

— Там тебе плохо. Там нет Песни.

— Я знаю. Я говорила тебе: там я просто эльфийка с клинком. Помнишь, что ты ответил?

Он помнил. Что просто эльфийкой с клинком она была и тогда, когда встала перед Костяным Королём.

— Вот, — сказала Лиэнна.

* * *

Топи замёрзли. Кочки торчали из-подо льда, как головы, между ними стояли чахлые берёзы, белые от инея до последней ветки, и туман лежал по пояс.

Хеги провожал их до западных ворот — до голема с красным шарфом на запястье — и стоял там, пока они не скрылись. Мешок его так и остался у двери кузни.

Шипы Хеги держали на льду лучше любых сапог. Тим, обнаружив это, сразу перестал ворчать и стал проверять, на какой лёд их хватит. Через час Бран сказал ему, что, если он ещё раз прыгнет на тонкий у берега, гном лично подвяжет ему шипы к ушам.

К полудню над ними сделал круг ворон, и сквозь его крыло просвечивало небо: перья держались на голых костях. Птица повисела над Урзагом и ушла на северо-запад, не взмахивая.

— Почта, — сказал Бран. — Доложит.

— Пусть докладывает, — сказал Тим. — Мы ж в гости. — Подумал. — Мы ж в гости?

Смертоцвет цвёл и зимой. Он рос у подножия башни, на голой серой земле, где не держался снег, — бледные стебли и белые полупрозрачные цветы, похожие на мотыльков. Осенью Лиэнна сказала: растёт только там, где земля напоена мёртвыми.

Пока отряд шёл к двери, ближние стебли начали клониться. Ветра не было. Стебли клонились к правой руке Дейна, как подсолнухи к солнцу. Он остановился — и они замерли, наклонённые, белыми чашечками к рукавице.

Лиэнну цветы не замечали. Она остановилась возле Дейна и молча глядела вниз, на стебли. Тим взялся за пояс Урзага обеими руками.

Урзаг шагнул на тропинку прямо по стеблям. Стебли хрустнули под сапогом.

* * *

Ему было всё ещё лет семнадцать, но он отпустил над губой пушок и очень за ним, кажется, ухаживал. Бляха на груди: башня под полумесяцем.

— Огненные, — сказал он. И осёкся, наткнувшись глазами на пустой горшочек Урзага и рукавицу Дейна. — Магистр ждёт. Ворон сказал, что вы идёте. Магистр велел подать вино. В Ордене не пьют, но для гостей у нас есть. Оно… — юноша поискал слово, — старое.

— Перестоял, — сказал Бран.

— Простите?

— Ничего. Звать тебя как?

Юноша моргнул. Кажется, никто из гостей Ордена его об этом не спрашивал.

— Йенс, — сказал он.

— Йенс, — сказал Бран и прошёл мимо него в дверь.

Внутри всё было как осенью: библиотека в несколько этажей, винтовые лестницы, полки до потолка. Пахло пергаментом, воском и сырым камнем: зимой башню не протапливали, и у читающих ноги стояли на жаровнях, как у торговок на рынке. Осенью никто из людей в чёрных мантиях не поднял головы. Сейчас подняли все — на рукавицу.

Тим считал ступени шёпотом и сбился на двухсотой. Урзаг поднимался молча, касаясь стены плечом, и дышал слишком ровно, как дышат, когда не хотят, чтобы было слышно, что сердятся.

Магистр Мордрейн ждал на самом верху, в круглой комнате под площадкой с зубцами, стоя у единственного окна и опираясь на спинку кресла. За осень он стал ещё худее. Белая борода, глаза цвета зимнего неба, пальцы длинные, жёлтые, как старая кость.

— Огненные, — сказал он, и в сухом голосе была неуверенность, подходит ли ещё слово. — Садитесь. Йенс, вино.

— Вы ж не пьёте, — сказал Тим.

— Я — нет. — Мордрейн сел, держась за подлокотники. — Но я много раз видел, как люди слушают в этой комнате то, что я им говорю. Иногда это легче с вином.

Вино было тёмное, густое. Урзаг понюхал, поставил кружку на пол и подвинул её ногой к Брану. Бран отпил, подержал во рту, как Борисов квас, и сказал:

— Этот не перестоял.

* * *

Дейн снял рукавицу и положил руку на стол ладонью вверх.

Магистр не наклонился. Он читал ладонь со своего кресла, как читают письмо чужим почерком, — сначала целиком, потом по строчке. Серое шло от пальцев через всю ладонь к запястью, ровное, плотное, цвета остывшего пепла, и только в середине, с горошину, лежало золото. Осенью, когда они уходили отсюда на болота, серого на ней не было вовсе.

— Йенс, — сказал Мордрейн. — Свечу.

Он взял оловянный подсвечник сам. Рука у него дрогнула, пламя качнулось, и он подождал, пока оно выпрямится. Потом поднёс свечу к пальцам Дейна — на ладонь.

Пламя побледнело. Оно стало светлее и тоньше, из жёлтого — белым, из белого — серебряным, и легло набок, вдоль стола. Тепла от него не было. Совсем.

На пальцах, на ногтях, появился иней.

Мордрейн повёл свечу дальше, вдоль ладони, к середине. Над серым пламя лежало плоско и серебрилось. Над золотом оно вдруг поднялось — рывком, жёлтое, живое, — и Дейна обожгло. Он дёрнул рукой. Свеча качнулась, магистр отвёл её.

За окном по карнизу переступал ворон, и было слышно, как скребут по камню костяные когти.

Мордрейн поставил свечу на стол и сцепил пальцы на коленях, чтобы спрятать дрожь.

— Я говорил вам осенью, что изучаю смерть шестьдесят лет. Теперь шестьдесят один. Я видел серое. Оно бывает у всех, кто долго этим занимается. Вот.

Он положил на стол свою руку, рядом с рукой Дейна. Кончики пальцев у неё были серые, до первого сустава, и ногти тёмные, как у человека, который всю жизнь возился с углём.

— У моего учителя было до второго сустава, к девяноста. Это остывание. Мы прикасаемся к тому, что после жизни, и оно оставляет в нас немного себя. Мы так пишем в книгах. Сколько времени прошло с осени?

— Четыре месяца, — сказал Дейн. — Чуть больше.

Осенью, когда Мордрейн рассказывал им про Гриммора, в его глазах был гнев. Сейчас — страх.

— Такого я не видел, — сказал он. — Ни у кого. Ни в одной книге. И то, что делает свеча. Я не знаю, что это. Огонь от нашей руки темнеет, сынок. Коптит. Он не становится серебряным. Он не ложится. — Магистр перевёл дыхание. — Я не знаю, кем ты становишься. Ты для этого пришёл? Чтобы я сказал? Я не могу.

* * *

— Да.

— На болотах. Тогда. Я знаю, ученики видели. Ты взял у Гриммора его мёртвых. Ещё?

Урзаг поднял голову.

— На корабле, — сказал Дейн. — На седьмую ночь пути на север.

Он рассказал коротко, сухо, как пишет капитан Сольвен: число, ветер, что было. Старик из-под воды, матрос, с образком, запутавшимся в бороде. Кораблю ничего не грозило. Дейн поднял его, потому что хотел знать, каково это — когда мёртвые слушаются. А потом, на Мёртвых льдах, ему поклонились колдуны.

Он не сказал «мне было хорошо». Он сказал «я хотел знать».

— В Ордене, — сказал Мордрейн, — первое, что говорят ученику, — не «как». Первое — «нельзя». Нельзя поднимать мёртвых ради войны. Нельзя — ради выгоды. Нельзя — ради любопытства. Нельзя — ради того, чтобы почувствовать, каково это. Это правило старше Ордена. Мы не знаем, кто его написал. Мы знаем, что его писали люди, которые сделали то, что запрещают. Иначе так не пишут.

— Почему? — спросил Тим из-за спины Дейна. — Почему старше? Откуда вы знаете, что старше, если не знаете, кто?

— Потому что первые магистры Ордена учились у Круга Бледной Луны, — сказал Мордрейн. — А Круг уже знал это правило. И Круг говорил нам, что его ему тоже кто-то дал. — Он усмехнулся. — Кто, они не сказали. Тёмные эльфы любят знать больше, чем говорят.

Урзаг встал так резко, что стул под ним скрипнул.

— Душно, — сказал он. — Пойду на площадку.

И ушёл наверх, к зубцам, не дожидаясь Йенса. Дверь наверху хлопнула, впустив мороз.

— Ваш орк, — сказал Мордрейн. — Его огонь погас. Король Эдрик написал мне, я знаю. И я знаю закон его клана. Он сжигал своих мёртвых, чтобы их никто не украл. Ты знаешь, что он думает, когда смотрит на твою руку.

— Знаю.

* * *

— Йенс, — сказал он. — А ворона можно? До Медограда?

Йенс побледнел ещё сильнее, хотя казалось — некуда.

— Можно. Магистр разрешит. Только… — он замялся, — это мёртвая птица. Её мало кто… Её не всякий…

— Бабушка возьмёт, — сказал Тим. Подумал. — Сначала веником. Потом возьмёт.

Он ушёл в келью и вернулся.

— Нет, — сказал он. — Не надо ворона. Я сложу. — Он похлопал себя по сумке, где лежали письма с самого Бастиона, перевязанные бечёвкой. — У меня тут уже сорок два листа. Приду и отдам.

Ночью Дейн сидел у окна кельи. Луны не было, туман над топями белел сам по себе. А подо льдом, под чёрной водой лежали мёртвые Гриммора. Осенью они ушли под воду все разом, когда лич перестал их держать, и так и остались: кто лёг, а кто стоял.

Не все спали. Кто-то звал, кто-то не помнил, как его зовут. Кто-то стоял подо льдом по пояс в иле, лицом наружу, стражей вокруг пустого острова, и ждал приказа от того, кто их отпустил.

Ждали его. С закрытыми глазами их было даже лучше слышно.

В дверь постучали. Мордрейн стоял на пороге в длинной ночной мантии, держась за косяк. Он поднялся на третий этаж сам, без Йенса, и дышал так, что это было слышно.

— Ты их слышишь, — сказал Мордрейн.

— Да.

— Всех?

— Не знаю. Многих. Они ждут.

Магистр сел на край постели — не спрашивая, тяжело — и отдышался.

— Я их не слышу, — сказал он. — Отсюда. Мне надо спуститься к воде, положить руку на лёд и полчаса просидеть, тогда, может быть, одного. А ты сидишь у окна на третьем этаже и слышишь многих.

— Что мне делать?

— Я не буду тебе врать, в мои годы на это жалко времени. Но я знаю, кем ты можешь стать, если тебя никто не научит. Таким, как Гриммор. Или хуже. Его мёртвые его боялись. Твои тебя ждут.

Он положил руку Дейну на плечо. Пальцы были холодные даже сквозь рубаху.

— Я могу научить тому, что знаю сам. Это немного. Это шестьдесят один год. Как не брать. Как слушать и не отвечать. Как отпускать. Некромант — не хозяин мёртвых, сынок. Он сторож. Сторож, а не хозяин. Это первое, что мы говорим ученикам после «нельзя». Я тебе говорил это осенью. Ты не слышал. Тогда тебе было не нужно.

— А теперь?

— А теперь у тебя под окном две сотни мёртвых ждут, что ты им скажешь, — сказал Мордрейн. — Так что теперь — нужно.

Он встал, держась за стену.

— Утром, — сказал он. — После завтрака. Внизу, у воды. Возьми рукавицу. И не бери эльфийку.

— Почему?

— Потому что там, внизу, ей нечем будет дышать, — сказал Мордрейн уже в дверях. — А ей захочется пойти. Ты ей скажешь «не надо». Она пойдёт всё равно. Я видел, как она стояла у цветов.

Он ушёл. По лестнице долго спускались шаги — шаг, остановка, шаг.

На площадку с зубцами вела одна лестница, и с вечера по ней никто не спускался. Урзаг стоял там всю ночь. Утром Йенс нашёл его у зубцов, в инее по плечи, лицом на восток, и решил, что орк спит стоя. Урзаг не спал. Он обернулся на шаги и спросил, где тут у них дрова. Йенс сказал, что дров нет, у них жаровни. Урзаг сказал «плохо» и пошёл вниз.

Орк вышел из башни и пошёл по белой земле к краю топей, и смертоцвет под его сапогами не поворачивался ему вслед.

Глава 4. Тонкое место

Академия Семи Башен. Тысяча триста лет назад. Месяц цветения липы.

У старой Мелле не было зубов, и поэтому она держала иголки во рту.

Губы у Мелле были сморщенные, как печёное яблоко, в углу рта торчали четыре иглы, и Мелле разговаривала прямо сквозь них, шамкая, и ни разу ни одной не уронила. Когда нужна была игла, она, не глядя, вытягивала её губами и отдавала в пальцы.

— Не так, — сказала Мелле. — Опять не так. Ты шьёшь, как пишешь.

— Я пишу хорошо.

— Вот и шьёшь, как пишешь. Быстро, красиво, а через неделю никто не разберёт. — Мелле взяла у неё полотно, поднесла к самому носу и понюхала шов. Мелле почти не видела, но запах свежего надрыва различала, как пёс. — Стежок должен быть мелкий, как просо. Двойной. Нитка идёт вперёд, потом назад, потом снова вперёд. Так шов не поползёт.

— Мёртвые же не двигаются.

Мелле вынула иглу изо рта и повернула к Иссаре белёсые глаза.

— Мёртвые — нет, — сказала она. — Земля двигается. Вода. Черви. Корни. Через десять лет твой торопливый шов разойдётся, и полотно сползёт, и будет лежать человек под землёй голый, как в бане. А ему не в баню. Ему на бал.

— На какой бал?

— На последний, — сказала Мелле. — Шей.

Иссара шила уже девятый день. Как велела Оранна, она приходила после утреннего двора в швейную — низкую комнату на втором ярусе Чёрной башни, где вдоль стен стояли сундуки с полотном, а под потолком висели на крюках готовые саваны, белые, как простыни у богатых. Окно здесь было одно, большое, на юг. Летом в него влетали пчёлы с крыши и путались в нитках, и Мелле выпускала их, накрывая ладонью. Они её не жалили. Её никто не жалил, даже Оранна.

К полудню у Иссары болела спина, к вечеру — пальцы, а в голове стоял шорох нитки, протягиваемой сквозь полотно, — ровный, бесконечный, как дождь.

— Зачем, — сказала она на девятый день, не выдержав, — зачем мне это? Я буду адептом. Я буду говорить с мёртвыми. Шить может любая белошвейка из нижнего города.

— Может, — согласилась Мелле. — Белошвейка сошьёт мешок. А ты сошьёшь дорогу.

Она отобрала у Иссары полотно и показала. Конец нитки, на последнем стежке, Мелле обмотала вокруг иглы трижды, протянула, и узелок лёг плотно, маленький, твёрдый, как семечко.

— Мёртвый узел, — сказала Мелле. — Последний. Его не развязывают. Только режут. Когда ты его завяжешь — ты отпустила. Всё. Больше не твоё. — Она вернула полотно. — Покуда не научишься вязать его так, чтобы руки не тряслись, — ты не адепт. Ты девчонка, которая слышит покойников. Таких у нас в нижнем городе полно. Им ничего не платят, а от них только хлопоты.

Иссара завязала. Узел вышел кривой. Мелле понюхала, вздохнула и отрезала его.

* * *

Мелле её не любила, потому что Кесс крошила на полотно. Кесс с порога заговорила одним голосом, без перехода, так что не сразу было понятно, где новость, а где пирожок.

— С капустой, а этот с яйцом, а этот я надкусила, не бери. Они уходят. Завтра. На рассвете. Через Северные ворота. Тиля говорит, телеги уже стоят у Огненной, восемь штук, и на них шубы. Шубы, Иссара! Летом! Ваш Совет сказал — тайно, а они грузят шубы, весь нижний город ходит смотреть, мальчишки спорят, на медведя они или на мамонта. Тилин брат говорит — так прямо и написано на бумаге: «Изучать снег». Я чуть не подавилась. — Она откусила от

пирожка с яйцом. — Носильщиков набирают на рынке, платят втрое. Только велят молчать. Все и молчат, на весь рынок.

Иссара вдела нитку.

— И он идёт, — сказала Кесс тише, уже другим голосом, и откусила ещё раз, чтобы было куда девать рот.

— Я знаю.

— Знаешь. Ты знаешь, и он знает, и вся Лазурная знает, и все пирожницы на Мостовой. Только вы двое делаете вид, что не знаете. Иссара. Он завтра уходит туда, откуда никто не знает, вернётся ли. Ты бы хоть…

— Шей, — сказала Мелле из угла. Сказала Кесс, хотя Кесс не шила. — Или иди. Крошишь.

Кесс фыркнула, положила на сундук последний пирожок — для Мелле, хотя Мелле нечем было его жевать, — и ушла, показав Иссаре с порога глазами что-то очень сложное.

Мелле подождала, пока шаги затихнут на лестнице, разломила пирожок, понюхала и отдала половину пчеле, которая сидела на подоконнике.

— Хорошая девка, — сказала она. — Громкая. Громкие долго не живут.

Иссара уколола палец. Кровь выступила бусиной, и она сунула палец в рот.

— Это вы к чему?

* * *

Не к ней — к башне. Внизу, у ворот, ударили в било, два раза и ещё раз: «стоит». «Лежит» били одним ударом — надо прийти, прочесть, обмыть, сшить. Два и один звали Чёрную башню, когда в доме покойник не ложился.

Иссара проснулась на первом ударе, к третьему уже стояла у двери спальни с башмаками в руке.

Во дворе, на могильных плитах, ждал Хадрам, а рядом с ним переминался мальчишка лет двенадцати, босой, в одной рубахе, — гонец из нижнего города. Хадрам опустил глаза на башмаки у Иссары в руке и постучал ногой по камню: обувайся.

— Мастер, а дежурная? — спросила Иссара, натягивая башмак. — Сегодня же Лайна дежурная.

Хадрам постучал два раза. Это означало, что Лайна вчера опять говорила с мёртвым трактирщиком на «ты», и трактирщик обиделся, и Лайна теперь три дня будет мыть галереи в крипте. Вслух было бы не яснее.

— Бабка у нас, — сказал мальчишка. Зубы у него стучали, хотя ночь была тёплая, липовая, душная. — Бабка Сайма. Третий день. Лежит и не лежит. Мамка велела к вам бежать.

Дом бабки Саймы стоял в самом низу нижнего города, на Глиняной улице, у старого русла, где от Ильмы остались огороды и сырость. Хадрам шёл впереди без фонаря: Безмолвных здесь знали в лицо, а кто не знал — уступал дорогу и так.

На улице стояло лето — тёплая пыль, запах липы и помоев, где-то за оградой пели пьяные. А в доме Саймы была зима.

На пороге сидела невестка с кричащим младенцем у груди и укачивала его, не отрывая глаз от двери в дом. Увидев чёрную мантию, она вскочила, и младенец закричал громче.

— Слава Свету, — сказала она. — Слава… Мы три дня… Молоко скисает. В кадушке. Утром налью — к обеду кислое. Собака ушла, не вернулась. А окно…

Окно было в инее. Изнутри. Тонкий белый узор, папоротником, на летнем стекле, и сквозь него едва просвечивал огонь лампы.

Хадрам встал у двери спиной к косяку, обнажил клинок и опустил остриём вниз. Иней тотчас пошёл по клинку от острия вверх. Он не войдёт, пока Иссара не позовёт. Он войдёт, если она не выйдет.

* * *

Мёртвая была не на столе.

Иссара её слышала — не ушами, кожей, как слышат сквозняк. Сайма стояла у окна, там, где на стекле рос иней, лицом в ночь.

— Доброй ночи, бабушка, — сказала Иссара. — Простите, что поздно. Меня зовут Иссара, я из Чёрной башни. Можно мне присесть?

Ответа не было. Холод у окна шевельнулся, как шевелится занавеска.

Иссара села на лавку и положила ладонь на доски рядом с ногой покойницы. Не на неё — рядом: не трогай, пока не позвали. Доски были ледяные.

Так слушают человека, который говорит за забором, — не слова, а голос, его вес, его усталость. Сайма была старая и очень упрямая. Она не злилась — злые мёртвые жгут холодом, как крапивой, а этот холод был ровный, тяжёлый, как рука, когда долго держишь ведро. Сайма ждала.

— Вы кого-то ждёте, — сказала Иссара.

Холод у окна стал плотнее.

— Сына? — Наугад. Иссара вспомнила невестку на пороге, младенца, мальчишку-гонца. Мужа в доме не было. — Сына ждёте. Он не пришёл.

У окна что-то сказало — не голосом, тяжестью, как камень на грудь: *ушёл*.

— Ушёл, — повторила она вслух. Мёртвым надо повторять, чтобы они знали, что их поняли. — Куда?

На север.

Сказал — на рынке наняли. Втрое. Сказал — снег смотреть. Сказал — через три дня уходят. Пришёл днём, денег оставил, задаток. Я ему: дурак, какой снег летом. Он рассердился. Ушёл, не попрощался. Вечером я легла и не встала.

Холод у окна сгустился ещё, и иней на стекле с тихим хрустом пополз от рамы к середине.

Три дня жду. Не идёт. Ночует у Огненной, у телег, их там держат, не пускают. А мне без него нельзя. Я ему последнее сказала — «дурак». Нельзя так уходить. С «дураком».

Мёртвого не уговаривают, с ним не спорят и ему не врут — он слышит ложь, как собака слышит страх. Мёртвому дают то, что ему нужно, если можно дать. А если нельзя, его провожают так, и потом в доме ещё год скисает молоко.

— Его отпустят, — сказала Иссара. — Я попрошу.

Не отпустят. Там маги.

— Я знаю одного мага, — сказала Иссара. — Он мне должен пирожок.

В холоде у окна мелькнуло что-то тёплое. Короткое, как смешок.

Твой, что ли?

— Нет, — сказала Иссара. — Не мой. Просто маг.

* * *

Хадрам довёл Иссару до угла и остановился: Безмолвный у ворот Огненной ночью означал бы, что кто-то умер. Он постучал по стене: жду.

Иссара постучала в боковую дверь, для угольщиков, так, как стучал Эрван, когда звал её на реку: раз, пауза, два.

Он открыл почти сразу. Рукава закатаны, на руках свежая сажа, волосы надо лбом подпалены. Из коридора за его спиной пахло железом и серой.

— Ты, — сказал он. — Ночью. Что-то случилось? Кто?

— Никто. Мне нужен носильщик.

Эрван моргнул.

— Он у вас. С Глиняной улицы. У него мать третий день стоит, — сказала Иссара. — Ей надо, чтобы он пришёл. На час. Попрощаться.

— Иссара, их не выпускают. Учитель велел никого. До выхода. Совет сказал — тайно.

— Весь нижний город знает, что вы везёте шубы.

— Это я знаю. — Эрван потёр лоб, размазав сажу. — Я говорил учителю, что шубы надо грузить ночью. Он сказал, что если ночью, то будет подозрительно. Как его зовут?

— Не знаю. Сын бабки Саймы. Глиняная улица.

Эрван вернулся через четверть часа. За ним шёл здоровенный детина с мятым от соломы лицом, в рубахе, которая была ему мала, и мял в больших красных руках шапку. Звали его Орек.

— Мамка, — сказал он Иссаре вместо приветствия. — Мне сказали — мамка. Я ей сказал — не дура ли. А она мне — дурак. Я и ушёл. Я ж не знал.

— Я провожу, — сказал Эрван. Стражникам он сказал, что носильщик нужен ему в мастерской, двигать горн, и те не спросили, какой горн двигают ночью вдвоём с носильщиком и девчонкой из Чёрной башни.

Хадрам, увидев Эрвана, ничего не постучал. Только глянул на него, как на мальчишку, который лезет на чужую яблоню, — и пошёл впереди.

У дома на Глиняной улице иней уже покрыл и наружную сторону окна. Орек прошёл мимо невестки в дом, пригнувшись под притолокой.

— Мамка, — сказал он телу на столе.

— Она не там, — сказала Иссара. — У окна.

Орек повернулся к инею. Шапка у него в руках скомкалась совсем. Он открыл рот, закрыл, переступил с ноги на ногу и уставился на Иссару, как на лекаря: скажи, что надо. Иссара не сказала. Нельзя было говорить за него.

— Я, это, — сказал Орек окну. — Я задаток оставил. В горшке под печкой. Ты не нашла, наверное. Там шесть серебряков. Это тебе. Ну и им, — он мотнул головой на дверь, на жену с младенцем. — Я, это… — Он замолчал. Потом вдруг сказал быстро, сердито, как говорят, когда стыдно: — Сама ты дура. Какой снег летом, понятно какой, я не дурак, я знаю, что не снег. Платят втрое. Я вернусь. Крышу перекрою. Слышишь? Крышу перекрою, ты три года просила. — Он сглотнул. — Ты это. Иди. Иди, мамка. Не стой. Тебе холодно тут стоять.

Иней на окне дрогнул. Тяжесть у окна не исчезла — сдвинулась, как сдвигается человек, который весь вечер простоял в дверях, а теперь сделал шаг внутрь. Узор-папоротник начал таять с краёв, и по стеклу побежали капли.

Свеча в изголовье выпрямилась и пожелтела.

— Она уходит, — сказала Иссара тихо. — Можно взять её за руку. Сейчас можно.

Орек подошёл к столу, неловко, большой, и взял мёртвую мать за руку — двумя своими, обеими. Рука уже не была ледяной. Просто холодной, как бывают холодными руки у стариков.

Иссара отошла к двери, и Хадрам, стерев иней о рукав, вложил клинок в ножны.

* * *

Эрван пришёл, когда свеча догорела наполовину, — проводил Орека обратно к телегам и поднялся по ста двенадцати ступеням Чёрной башни, хотя посторонним после полуночи было нельзя. Сел на сундук у стены, где сидела днём Кесс.

— Можно я посмотрю?

— Смотри.

Иссара шила. Вперёд, назад, снова вперёд. Нитка шуршала.

Свеча оплыла и стала коптить. Иссара, не поднимая головы, сказала:

— У тебя есть огонь?

Эрван раскрыл ладонь. Над ней вспыхнула птица — маленькая, с воробья, рыжая, с кривым хвостом. Птица посидела на его пальцах, поправила перья, которых у неё не было, и перелетела на край сундука, поближе к полотну. Стало светло и жарко.

— Только не на саван, — сказала Иссара.

— Она знает.

Птица переступила с лапки на лапку и нахохлилась. Иссара шила при её свете, и стежки получались ровнее, чем при свече: огненный свет не дрожал.

— Почему так долго? — спросил Эрван. — Шьёшь. Её же завтра в землю. Никто не увидит.

— Мелле говорит, через десять лет шов разойдётся, и будет лежать человек под землёй голый, как в бане.

— А ей не в баню.

— Ей на бал.

Эрван засмеялся — тихо, чтобы не разбудить никого за стеной.

— Я видел через окно, как она уходила. Иней таял. Она что, правда стояла там? У окна? Три дня?

— Три дня.

— Ждала, чтобы он пришёл и сказал «иди»?

— Чтобы он пришёл, — сказала Иссара. — «Иди» — это он уже сам придумал. Она не просила.

Птица горела ровно, и от неё на потолке лежал круг рыжего света.

— Иссара, — сказал Эрван. — А если бы не надо было уходить?

Она не подняла головы. Игла шла вперёд, назад, снова вперёд.

— Если бы мы нашли, — сказал Эрван, — то, за чем идём. Если бы огонь, который не гаснет, можно было… я не знаю как. Взять. Понять. Если бы не надо было стоять у окна три дня и ждать дурака-сына, потому что последнее слово было «дурак». Если бы все могли успеть. Все. Всегда.

Она дошила до угла и повернула полотно. На празднике она не сказала. Теперь праздника не было — была ночь, и полотно, и утром Северные ворота.

— Тогда никто и не будет жить, — сказала Иссара. — Смотри. — Она подняла полотно к птице, чтобы ему было видно шов. — Вот нитка. Видишь, где кончается? Вот тут. Узел. Если нитка не кончается, это не шов. Это клубок. Его нельзя ни во что надеть, нельзя ни к чему пришить. Его можно только мотать. — Она опустила полотно. — Если бы бабка Сайма не умерла, её сын ушёл бы на север со словом «дура». Она — со словом «дурак». И так бы и жили. Всегда. Им же некуда торопиться.

— Это нечестно, — сказал Эрван. — Это ты про одну старуху. А Рамис? Рамису было девять. — Голос у него стал слишком ровным, и птица на сундуке пригнулась, как огонь от сквозняка. — Рамис успел сказать мне всё, что хотел. И я ему всё. Мы успели. А он всё равно умер. Девяти лет. Ты скажешь, что это порядок?

— Скажу.

— Тогда твой порядок — дрянь.

Он сказал это без злости.

Иссара положила полотно на колени. Пальцы у неё были исколоты, на указательном — бурая точка от сегодняшней иглы.

— Может быть, — сказала она. — Только он ушёл, держась за мой палец, и сказал, что ему не жарко. Я там была, Эрван. Ты был за дверью: тебя лекари не пустили, ты кричал на них в коридоре. А я была там. Ему было хорошо. Первый раз за четыре дня — хорошо. Он улыбнулся. — Она сглотнула. — А если бы он не ушёл? Если бы огонь в нём не погас? Он бы горел. Четыре дня. И ещё четыре. И ещё. Всегда. С этой лихорадкой. Ты этого хочешь?

Птица на сундуке погасла.

Не догорела, как на празднике у неё на коленях, — погасла разом, как свеча, когда на неё дунут. Только в окне, над крышами нижнего города, серело небо.

— Прости, — сказал Эрван наконец. — Я не нарочно. Она сама. Она от меня, понимаешь. Когда я…

— Я понимаю.

Он нашёл в темноте огниво и зажёг новую свечу — по-простому, кремнём и кресалом, с третьего раза. Огонь от огнива был жёлтый, слабый, обычный.

— Дошивай, — сказал он. — Утром за реку.

Она дошила. Он сидел, пока она не завязала мёртвый узел — трижды обмотав нитку вокруг иглы. Руки у неё не тряслись. Узел вышел маленький и твёрдый.

— Его не развязывают, — сказала Иссара. — Только режут.

* * *

Отец Иссары ждал у Лодочных ступеней, как ждал всех. Лодка у него была длинная, плоская, выкрашенная в чёрное, с белой полосой по борту — чтобы было видно с берега, что везут, и чтобы рыбаки снимали шапки. Орек нёс мать на руках от самой Глиняной улицы — носилки не взял, — а за ним шли невестка с младенцем, мальчишка-гонец, теперь в башмаках, соседки, Иссара и Хадрам последним.

Орек положил мать в лодку сам. Пальцами нашёл на саване шов и провёл по нему, как проводят по шраму.

— Крепко? — спросил он.

— Десять лет не разойдётся.

— А потом?

— А потом ей уже не надо будет.

Орек подумал и кивнул. Потом снял шапку, сунул её за пазуху и пошёл вверх по ступеням, не оглядываясь, — к Огненной башне, к телегам.

Отец оттолкнулся веслом.

Иссара сидела на корме, у ног Саймы. Над серой Ильмой лежал туман, с берегов пахло липой и дымом. Говорить в лодке с покойником было не принято, и они не говорили.

На середине реки отец перестал грести. С воды была видна вся северная окраина: стена, ворота, дорога. По дороге ползли восемь телег, крытых парусиной, с шубами. Возле них шли носильщики и маги в длинных мантиях, красных, серых, синих. Впереди ехал на высоком коне Валтаз, в алом, с седой бородой, расчёсанной на две стороны. Рядом с ним, на маленькой лохматой лошадке, трусил коренастый человечек в меховой шапке и то и дело сдвигал её на затылок: жарко. Проводник с севера. Кесс говорила, зовут его как-то смешно — Хьяльти, — и что он, когда увидел шёлковые мантии магов, хохотал так, что упал с телеги.

Тайно они ушли. На рассвете, под пение петухов и на глазах у всей окраины, которая высыпала на стену смотреть, как маги идут изучать снег.

Иссара искала рыжее.

Он шёл у третьей телеги, пешком, рядом с носильщиками. Мантия у него была коротка — она всегда была ему коротка, — и рыжие волосы горели на солнце, которое как раз поднялось над восточной стеной. Он шёл и не оглядывался.

Потом оглянулся.

Отсюда, через туман, он не мог её видеть: мало ли кого везут за реку в такую рань. Но он остановился. Встал прямо на дороге, и носильщик, шедший сзади, налетел на него и выругался. Эрван поднял руку.

Над ладонью у него вспыхнула птица. Маленькая, с воробья, рыжая, с кривым хвостом. Она поднялась над дорогой, над телегами, над стеной, повисела там, яркая в утреннем свете, — и рассыпалась искрами.

На стене засвистели мальчишки.

Иссара сидела не двигаясь, опустив глаза на свои исколотые руки.

— Твой? — спросил отец. Он впервые заговорил в лодке с покойником за двадцать лет.

— Нет, — сказала Иссара. — Не мой. Просто маг.

Отец опустил весло в воду.

На том берегу их ждали могильщики с лопатами. Сайму положили на холме, под старой липой; место под деревом Хадрам оплатил из башенных, а Орек, уходя, сказал, что отдаст с жалованья. Иссара прочла её имя. Могильщики повторили. Холм был тихий, и Сайма легла к остальным, как ложится человек, который пришёл домой после долгого дня и даже не стал раздеваться.

Назад отец грёб медленнее. Лодка шла пустая, высоко сидела в воде.

— Тяжело сегодня, — сказал он на середине реки.

— Она же лёгкая была. Сухонькая.

— Не она. — Отец мотнул головой на северный берег, где за лесом уже ничего не было видно, только пыль ещё висела над дорогой. — Эти. Живые всегда тяжелее. Покойник знает, куда едет. — Он сделал ещё гребок. — А эти не знают.

Глава 5. Сторож

Лёд на краю топей был чёрный и прозрачный, и сквозь него, на глубине в рост человека, стояли люди.

Начинают с глаз, сказал Мордрейн, потому что глазам веришь. Дейн лёг на живот, на расстеленный Йенсом овчинный тулуп, и стал смотреть вниз, в чёрное.

Там стоял мужчина в истлевшей рубахе. Лицом наружу, от острова, как стоял осенью, когда Гриммор поставил их стражей. Голова опущена, руки висят, борода шевелится в воде, хотя вода подо льдом не двигалась. Левее стоял ещё один. Дальше — ещё. От берега до серой полосы тумана, где был остров, стояли люди. Не тесно. Как деревья в редком лесу.

— Двести шестнадцать, — сказал Мордрейн. Он сидел на берегу на складном стуле, закутанный в две мантии и шерстяной плед с кистями. — Ученики считали. Осенью, когда лёд ещё не встал, мы ходили на лодке. Они не все такие спокойные, как этот. Некоторые лежат. Некоторые сидят на дне, обхватив колени. Один, — магистр поморщился, — висит вниз головой, зацепившись ногой за корягу, и не может решить, что ему с этим делать.

— Почему вы их не отпустили?

— Мы пробовали. — Мордрейн подтянул плед. — Восемь учеников, я и два магистра, которые тогда у нас гостили. Мы просидели на этом берегу весь листопад. Положили сорок три. Остальные нас не слышат.

— Почему?

— Потому что ждут не нас. Сними рукавицу. Положи ладонь на лёд. И не говори ничего. Ни вслух, ни внутри. Это самое трудное. Внутри.

Лёд обжёг холодом — а потом перестал, и сквозь лёд, сквозь воду, сквозь ил пришли все сразу.

Как войти с улицы в набитую таверну, где все говорят одновременно и никто ни с кем. Двести голосов — нет, тяжестей, холодов, вопросов, у каждого свой. Кто-то не помнил имени и искал его, перебирая, как перебирают ключи на связке. Кто-то звал жену. Кто-то повторял примету про погоду и никак не мог вспомнить, к чему она. Кто-то, совсем рядом, под самой ладонью, просто ждал — терпеливо, как ждёт собака у двери хозяина.

И все до одного повернулись к нему. Не телами — тела подо льдом не шевельнулись. Двести холодов разом потянулись к его ладони, как стебли смертоцвета у башни, и двести вопросов слились в один, простой, как удар в било:

Что?

Что делать. Куда идти. Чего ты хочешь. Скажи.

Дейн открыл рот.

— Не надо, — сказал Мордрейн с берега. Спокойно, не повышая голоса. — Закрой.

Он закрыл.

Что? Что? Что?

— Они спрашивают, — сказал Дейн сквозь зубы. — Все. Чего я хочу.

— Знаю. Не отвечай.

— Они ждут.

— Пусть ждут, — сказал Мордрейн. — Им не впервой. Ты осенью сказал им «взять». Они взяли. Потом их отпустили, и с тех пор они стоят и ждут, что ты скажешь дальше. Если ты сейчас скажешь «лягте» — они лягут. Все. Разом. И это будет приказ. Ты положишь их не потому, что им пора, а потому, что ты так хочешь. Они будут лежать, пока ты хочешь. А когда ты перестанешь хотеть — например, умрёшь, или устанешь, или передумаешь, — они встанут. И пойдут искать тебя.

Голоса под ладонью давили. Не громко — тяжело. Как давит на плечи мокрый тулуп.

— Тогда как?

— По одному, — сказал Мордрейн. — Найди одного, который не спрашивает «что». Который спрашивает про своё. Слушай его. Пока не поймёшь, что ему нужно. Не что ему от тебя нужно — что ему нужно. Это разное.

Колени промокли сквозь тулуп, и рука на льду стала частью льда. Один раз Йенс принёс магистру горячей воды в кружке, и тот выпил её, не сводя глаз с Дейна.

Женщина нашлась под самым берегом. Она вообще ни о чём не спрашивала. Она была совсем маленькая, слабая, как огонёк, который вот-вот погаснет, и от неё шло одно: *не здесь*. Не здесь, не здесь, не моё, не здесь. Как бормочет человек во сне, когда ему снится чужой дом.

— Есть одна, — сказал Дейн. — Говорит, не здесь.

— Хорошо. — Мордрейн подался вперёд. — Где — здесь?

В бормотании, на самом дне, как камешек на дне ручья, лежало: три берёзы над оградой. Колокольчик на калитке. Река — не эта, другая, быстрая, светлая.

— Три берёзы, — сказал Дейн. — Колокольчик на калитке. Река быстрая.

— Ивняки, — сказал Йенс, не задумываясь. — Погост в Ивняках, у Светлянки. Там три берёзы у ограды. Гриммор там брал позапрошлой зимой, мы записывали. Восемь могил. — Он помедлил. — Магистр, её тело… Тела мы не сможем…

— Не надо тела, — сказал Мордрейн. — Тело её здесь, и оно останется здесь, в иле, и это неважно. Ей не тело нужно. Скажи ей, где она.

— Она знает, где она.

— Нет. Она знает, где не она. Это разное. — Магистр устало потёр глаза. — Скажи ей, что Ивняки помнят. Что три берёзы стоят. Что колокольчик звонит. Что её место там пустое, но оно её. И что ей не надо идти туда ногами. Она уже там.

Дейн подумал о Мысе. О синей двери, которая висела криво девять лет. О лавке, которую отец две недели строгал, потому что ворон сказал, что «Чайка» зайдёт. О том, что место может быть пустым и всё равно твоим. Подумал туда, вниз, под ладонь.

Бормотание прекратилось. Маленький холод под берегом постоял, а потом ушёл — как гость, который наконец вспомнил, что его ждут дома, и даже не попрощался, потому что торопится.

Подо льдом, у самого берега, женщина в саване опустилась на дно и легла на бок, подложив руку под щёку.

Дейн снял ладонь со льда. Рука была белая, без единой кровинки, пальцы не сгибались. Инея на них не было.

* * *

— Тут мы учимся, — сказал Йенс. — Внизу. Там учителя.

— Какие учителя? — спросил Тим, который увязался следом и держался за косяк обеими руками.

— Наши. Магистры, которые умерли. Они сами просили в завещании, чтобы их положили внизу и ученики приходили к ним слушать. Мёртвый учитель — самый терпеливый. Он не устаёт, не сердится и не помнит, что ты в прошлый раз ошибся. Магистр Мордрейн тоже просил. Когда придёт срок.

Тим отпустил косяк, подумал и снова за него взялся.

— Подожди здесь, — сказал Дейн Лиэнне.

— Нет.

Она шагнула на первую ступень. На вторую. На третьей остановилась. Она вдохнула — и не смогла выдохнуть: воздух внизу был не воздух, а вода. Губы у неё побелели, пальцы на каменной стене разжались и сжались.

Дейн взял её за локоть и вывел наверх. У фонаря она согнулась и закашлялась, как кашляют, вынырнув из глубины.

— Там нечем, — сказала она хрипло, когда смогла. — Ни одной ноты. Наверху хоть бумага — она была деревом. Хоть воск. Хоть мята в мешочках. А там песне нечем дышать.

— Я знаю. Мордрейн говорил. Что ты захочешь пойти. И что тебе будет плохо.

Лиэнна утёрла губы тыльной стороной ладони. Глаза у неё были мокрые от кашля.

— Иди, — сказала она. — Я подожду.

* * *

Нижние залы оказались длинной галереей, вырубленной в скале. Вдоль стен шли ниши, в нишах лежали люди. Не скелеты, как в страшных сказках, — люди в чёрных мантиях, сухие, тёмные, с руками, сложенными на груди, со спокойными лицами. Под каждой нишей висела табличка с именем и годами. Самой старой было пятьсот восемьдесят лет. Перед нишами стояли скамейки, и на некоторых молча сидели ученики, положив ладонь на край ниши.

— Магистр Эльвен, — сказал Йенс у ниши в середине галереи. Табличка: «Эльвен Тиссе. Магистр. 412–498». — Он объясняет лучше всех. Только медленно.

Дейн сел и положил ладонь на край ниши.

Магистр Эльвен был холодный и ясный, как зимнее утро. Он ничего не спрашивал — ждал, пока Дейн привыкнет к нему, как привыкают к темноте глаза. Потом начал. Не словами. Знанием. Так берут за руку и ведут, показывая: вот так слушают. Вот так отличают сон от ожидания. Вот так находят имя, не спрашивая его. Нет, не так — мягче, ещё мягче, мёртвые не любят, когда к ним входят без стука.

Прошёл час, потом второй. Ученики вокруг сменились. Фонарь на стене начал коптить. Магистр Эльвен показывал, как отличить того, кто ушёл, от того, кто только спит: у ушедшего тишина ровная, у спящего — с рябью, кто-то внизу ворочается во сне. Вот — смотри — вот рябь…

И тогда в пустой галерее зазвучал голос. Его собственный, вслух. Тихо, быстро, монотонно, на одной ноте, — как бормочут молитву старики в храме. Слова были знакомые и незнакомые сразу: язык тот же, побережный, но выговор чужой — южный, протяжный, с «о» там, где на Мысе говорили «а».

…Заря-матушка, светлая, над морем вставшая, не оставь, не оставь, проведи по воде, как по суху, как по суху, не дай волне…

Он замолчал. Зажал себе рот рукой — левой. Правая всё ещё лежала на краю ниши.

На Мысе так не молились. Отец кивал на Зарю по праздникам, как соседу через улицу, и всё. Мать молилась про себя, без слов.

А слова были. Целиком. Дальше шло: *«…не дай волне взять, а коли возьмёт — то к берегу вынеси, где Ольва ждёт…»*

Ольва.

Перед глазами, в темноте галереи, стояло лицо. Немолодое, круглое, с родинкой над губой, с выбившейся из-под платка седой прядью. Женщина стояла на чужом причале, с длинными сваями и сетями на кольях, и глядела в море, прикрыв глаза ладонью от солнца.

* * *

— Матрос, — сказал Мордрейн, садясь рядом и тяжело дыша. — Тот, что на корабле. Старик с образком.

— Да.

— Что он тебе оставил?

Дейн рассказал всё, кроме слова, которым она ругалась по утрам.

— Это правило, — сказал Мордрейн. — Я не говорил тебе его на льду, потому что надеялся, что не придётся. Мёртвый, которого поднимают, отдаёт поднявшему то, что знал. Руку — если был мечником. Язык — если был учёным. Дорогу — если был проводником. Чем дольше держишь — тем больше берёшь. И то, что взял, остаётся. Навсегда. После того, как отпустишь. После того, как забудешь, что поднимал.

— Гриммор, — сказал Дейн. — Он держал двести человек. Двадцать лет.

— Да, — сказал Мордрейн. — Поэтому он смеялся, как страницы. Он к концу не помнил, какой из двухсот голосов его собственный. Сильный некромант — это хор. Чужие голоса. Чужие руки. Чужие молитвы. Главный его бой — не с мёртвыми и не с живыми. Главный бой — остаться собой. Среди всех, кого он в себе носит.

— Я держал его одну ночь.

— Одну ночь, — согласился Мордрейн. — И у тебя теперь есть жена с больным коленом. Которую ты никогда не видел. — Он положил ладонь Дейну на рукавицу. — Это не самое плохое, что можно унести от мёртвого.

— А что самое плохое?

Магистр встал, держась за стену, и дошёл до лестницы.

* * *

Дейн сел рядом на ступень. Руки у него были мёртвые. Обе — и правая, серая, и левая, которой он зажимал себе рот. Под ногтями было синё. Он попробовал расстегнуть ворот — пуговица выскальзывала.

— Холодно, — сказал он.

Он не хотел этого говорить. Это вышло само.

Лиэнна взяла его руки в свои. Ладони у неё были тёплые, как тёплый хлеб.

Сначала было больно — как бывает, когда отогреваешь отмороженное и кровь возвращается в пальцы иголками. Дейн стиснул зубы. Лиэнна держала, пока пальцы не начали гнуться и под ногтями не порозовело. Потом отпустила и сразу спрятала свои руки под плащ.

Дейн сгибал и разгибал пальцы.

— Там Ольва, — сказал он. — Жена того матроса. Я её помню. Как будто сам на ней женат был тридцать лет.

— Она жива?

— Не знаю.

— Ты хочешь знать?

Он подумал.

— Не знаю, — сказал он снова. — Да. Нет. Не знаю.

* * *

Утром — лёд. Одного в день, иногда двоих. Мордрейн сидел на берегу и говорил только «не так» или «мягче», а на третий день стал присылать вместо себя Йенса со стулом и пледом и смотрел из окна наверху, через подзорную трубу, которую ему когда-то привезли из-за гор.

Днём — нижние залы. Магистр Эльвен. Магистра Ирмена Корве, которая при первой ошибке выставляла из своей ниши таким холодом, что сводило зубы. Старый Тойво, который ничего не объяснял, а только рассказывал байки про своих учеников, — и из баек Дейн почему-то понимал больше всего.

Лиэнна ждала на лестнице. Каждый день он поднимался — и она брала его руки. Ни разу ничего не спросила.

Вечером — все вместе, в келье Тима, потому что у Тима была самая большая жаровня: её Тим выиграл у Йенса в кости. Йенс оказался способным учеником. За четыре вечера он проиграл Тиму жаровню, вторые сапоги, медную пряжку и право на лишнюю кружку горячей воды за ужином, — а на пятый вечер выиграл всё обратно, и ещё Тимов ножик.

Тим отдал ножик, как отдают последнюю корову.

— Это нечестно, — сказал он. — Ты мёртвых слушаешь. Ты слышишь, как кости лягут.

— Кости же не мёртвые, — сказал Йенс.

— Кости — мёртвые! Это же кости!

Йенс подумал. Потом вернул ножик.

— Не слышу, — сказал он. — Честно. Просто повезло. — И с серьёзным лицом: — Но про кости — это мысль. Я магистру скажу.

Бран каждый вечер собирал мешок, ставил у двери, а утром разбирал. Днём он ходил по башне и чинил: петли, скрипящие ступени, жаровни с прогоревшим дном, подзорную трубу магистра, у которой разболталось колено. Орден ничего не просил. Йенс ходил за гномом и подавал инструмент, и однажды из-за полки донеслось:

— Видишь? Тут клин. Если клин сел криво — вся полка поедет, книги на пол. А ты бы что — поднял их, книги? Слушал бы, как они лежали? — Бран постучал по полке костяшкой. — Клин подбей. Вот и всё ремесло.

Урзаг в башне не жил. Он поставил себе за башней, где кончался смертоцвет и начинался снег, шалаш из жердей и лапника и развёл перед ним костёр — настоящий, из мёртвых берёз, нарубленных на топях. Вороны Ордена обходили его огонь широким кругом.

Дейн пришёл к нему на четвёртый вечер. Урзаг сидел у костра на чурбаке и строгал: из ясеневой колотушки отца Дейна он делал что-то маленькое. Дейн сел напротив и протянул руки к огню. От огня пахло берёзой и смолой.

— Ты их отпускаешь, — сказал Урзаг, не поднимая головы. — Или берёшь?

— Отпускаю.

— Сколько?

— Пятерых. Шестую — сегодня.

— А сколько там?

— Двести шестнадцать.

Урзаг долго считал, шевеля губами.

— Сорок с лишним дней, — сказал он. — Если по пять в день. А если по одной — двести дней. — Поднял глаза. — Весна раньше.

— Знаю.

— Знаешь, — повторил Урзаг и отложил колотушку и нож. — Старик сказал тебе — по одной. Это правильно. В клане так же. Одного зовёшь на костёр. По имени. Двух сразу не зовут — они спутаются, кто куда.

— Я знаю.

— Ты сегодня одну. — Урзаг поворошил палкой угли. — Я видел с берега. Ты лежал на льду полдня. Потом встал, и лицо у тебя было — как у того, кто её на руках нёс. Всю дорогу. Учись быстрее.

— Если быстрее — это приказ.

— Не знаю, — сказал Урзаг. — Я не некромант. — Он снова взял колотушку и нож. — Но я видел, как пели наши старики. Над тысячей. Над всеми, кто лёг у Красной балки. Одна песня, а имён — тысяча. Каждое имя — отдельно. В одной песне. — Он строгал. Стружка падала в огонь и вспыхивала. — Значит, можно.

— Ты больше не слышишь, — сказал Дейн. — Их.

— Нет, — сказал Урзаг просто. — Последние были утопленники. У Мыса. Потом — тихо.

— Жалеешь?

Урзаг подумал. Он всегда думал над вопросами, даже над такими, на которые всё ясно.

* * *

Дейн лежал в келье без сна. Жаровня в углу прогорела и не грела. Он слушал топи — привычно уже, вполуха, как слушает рыбак ветер, лёжа в доме. Женщина в саване у берега лежала на боку, рука под щекой. Ещё несколько — рядом. Остальные стояли.

И потом — в самой середине серого, под кожей правой ладони, — кто-то сказал, тихо, вежливо, почти ласково:

Хаук.

Дейн не шевельнулся.

Его звали Хаук. Хаук Сетевяз, с Длинных Свай, это на юге, за Медоградом. Он ушёл ко мне сорок один год назад, когда его шхуна не дошла до Стылой гавани. Он молился до последнего. Ты знаешь, как.

Тишина в ладони была не тишиной — словом. Как бывает, когда в пустом зале кто-то молчит так, что слышно.

Ольва жива, рыбак. Ей семьдесят девять. Она по утрам выходит на причал. Не потому, что ждёт. Потому что не может не выходить.

За окном, на топях, ничего не изменилось.

Ты хотел знать. Я знаю всех, кто ко мне пришёл. Всех двести шестнадцать. Каждое имя. Каждый погост. Каждый колокольчик на калитке.

Не отвечай, сказал Мордрейн в первый день. Ни вслух, ни внутри.

Он не ответил. Он думал об Ивняках. О трёх берёзах над оградой. О том, что место может быть пустым и всё равно твоим.

Тишина в ладони подождала.

Хорошо, — сказала она наконец. Кажется, с одобрением. — Старик учит тебя правильно. Он знает мало. Но то, что знает, — правда.

Мне некуда спешить, рыбак. Двести дней, сказал твой орк. Я подожду.

Больше ничего не было.

Дейн лежал до рассвета. Ладонь не болела и не жгла. Серая, с золотом с горошину в середине.

Утром на льду он нашёл одного — мальчишку лет десяти, которого Гриммор забрал с погоста у какой-то деревни на западе. Мальчишка не спрашивал «что». Он спрашивал, покормил ли кто-нибудь его собаку.

* * *

Мы в Чёрной башне уже двенадцать дней. Ты не бойся, тут не страшно, тут скучно. Тут все читают. Даже за едой. Я научил Йенса играть в кости, он теперь лучше меня. Не говори дяде Бэрри, он будет смеяться.

Дейн учится. Каждый день ходит на лёд и отпускает мёртвых, по одному. Он уже отпустил тринадцать. Он говорит, что их двести шестнадцать. Урзаг посчитал, что если так, то до весны не успеть. Урзаг строгает что-то из колотушки Дейнова папы. Не показывает что.

Бран чинит всё. Тут уже ничего не скрипит. Каждый вечер он собирает мешок, а утром разбирает. Я один раз спросил, зачем. Он сказал: «Чтобы не забыть, как». Я не понял, бабушка. Мне кажется, он тоже не понял.

Лиэнна сидит на лестнице. Вниз ей нельзя, там у неё что-то с дыханием. Она ждёт Дейна наверху, а когда он поднимается, греет ему руки. Каждый день. Потом прячет свои. Под плащ. Я один раз подсмотрел, бабушка: у неё пальцы белые. Совсем. Как у тебя зимой, когда ты стирала в проруби. И она их трёт и дышит на них, а когда кто-нибудь идёт — прячет.

Дейн не видит. Он вообще мало что видит в последние дни. Всё время слушает что-то.

Я ему не скажу. Она бы не хотела. Я тебе говорю, потому что тебе можно.

Сорок девятый лист. Скоро новая сумка нужна.

Твой Тимми.

Лист Ионы I. Предупредили ли

Из бумаг, которые брат Иона, архивариус Ордена Зари, собирал для Дейна с Чаячьего Мыса. Выписки, копии и заметки на полях — рукой брата Ионы.

Лист первый. Ответ Чертога на письмо брата Ионы. Записан со слов старшины Летописи Чертога, гнома по имени Огрим, сына Тарна; перевод с гномьего — брата-писца Альдербургского собора. Подлинник — на девятой плите Книги Чертога, читается пальцами.

Человек из Ордена спрашивает: предупредила ли гора.

Гора отвечает: предупредила.

Это было до договора с лесом. До того, как лес и гора поклялись говорить друг другу. За сто лет до того. Тогда гора говорила не с лесом, а с теми, кто сильнее леса. С семью башнями за восточным хребтом. Они были молоды и умны, и гора думала, что умных надо предупреждать первыми.

Старый Горн, что был тогда под северными корнями, услышал, что камень поёт. Камень не поёт. Камень молчит. Если камень поёт — под ним что-то ходит. Горн спустился на сорок саженей ниже последней штольни и приложил ладонь. Там было горячо. Там, где не бывает горячо никогда.

Горн писал так (переписано с плиты, слово в слово):

«Семи башням от Северного Горна. Под нашими корнями на север от нас камень тонок. Под ним огонь, которому не место. Он не наш и не ваш. Он ходит, как зверь под полом. Не копайте туда и не пускайте никого. Если вы уже копаете — перестаньте. Мы просим не за себя. Мы уйдём глубже. Мы просим за всех».

Письмо отнёс сын Горна. Шёл через хребет тридцать два дня. Вернулся через восемьдесят. Принёс ответ на пергаменте с печатью семи башен в круге.

Ответ тоже на плите. Он короткий:

«Северному Горну. Ваше письмо получено Советом и положено под устав. С уважением, за Совет — писец Высокой башни».

Под устав — это значит: в шкаф. Сын Горна спросил у писца, что значит «под устав». Писец ответил: «Это значит, что мы его прочли». Сын Горна был молодой и поверил.

Не прошло и года, как небо на севере загорелось.

Северный Горн ушёл глубже, как обещал. Не все успели. Имена тех, кто не успел, — на десятой плите. Человеку из Ордена их не нужно. Нам нужно.

Через сто лет гора и лес выбили договор. Огонь из-под горы — гора скажет лесу. Огонь из-за леса — лес скажет горе. Не башням. Друг другу.

Человек из Ордена спрашивает: почему в договоре нет людей.

Гора отвечает: потому что люди кладут под устав.

Огрим, сын Тарна, старшина Летописи. Писано в Чертоге, в год, когда пятеро огненных наземников вернулись с Ледяного Предела.

На полях, рукой брата Ионы:

Сорок дней я ждал этого ответа. Тан Бронгар переслал моё письмо старшине Летописи с припиской «ответь человеку, он не дурак». Старшина ответил. Брат-писец, который переводил, сказал мне, что последняя фраза по-гномьи звучит хуже, чем по-нашему, — у них нет вежливого слова для «люди». Есть слово «наземники» и есть слово, которое он переводить отказался.

Итак, предупредили.

Тысячу триста лет назад гномы знали, что под северным камнем ходит огонь, и написали об этом Академии Семи Башен. Академия прочла и положила в шкаф. Через год случилось то,

что в наших летописях названо «Прорывом» и о чём в летописях Академии, которые я видел в списках, сказано так: «огонь вышел из земли нежданно, и Огненная башня закрыла его ценою жизни своего главы, архимага Валтаза». Нежданно.

Я сорок лет в архиве. Я знаю, как выглядит «нежданно» в летописи. Обычно это значит, что кто-то ждал, а кто-то положил под устав.

Ниже, другими чернилами, позднее:

Перечитал. Не могу не записать, хотя это не относится к делу.

Десять с лишним лет назад в этот архив пришло письмо от сестры Сэлвины Ардейн, бывшей монахини обители при Бастионе. Она писала Верховному Иерарху, что у стены стоят мёртвые не по воле Ингвара, что под ним спит тот, чей сон — тишина, и что, когда Ингвар устанет, нам нечем будет его встретить. Письмо получено. В книге исходящих ответа нет. Я проверил дважды.

Мы не пишем «положено под устав». У нас нет такого слова. У нас нет даже шкафа: письмо лежало в общей папке «Разное, Бастион», между счётом за свечи и жалобой на брата-повара.

Иерарх Аврелий сказал на Соборе, что Орден лгал. Он сказал «лгал», а не «ошибался», и половина собора встала и вышла. Я остался. Я думаю, что он сказал правильное слово, но не всё. Мы не только лгали. Мы ещё и не читали.

Кладу этот лист первым. Пусть рыбак с Мыса знает, с чего началось.

Иона, архивариус. Альдербург, Соборная библиотека, нижнее хранилище.

Глава 6. Письма с севера

Академия Семи Башен. Тысяча триста лет назад. С начала лета до весны.

Первый вестник прилетел на девятнадцатый день, и пчёлы его чуть не убили.

Это была стеклянная ласточка, голубоватая, с тонким, как волос, клювом. Она появилась над крышей Чёрной башни на рассвете, сделала круг, нашла Иссару — вестников Стеклянной башни учили находить одного человека по имени, вплавленному в грудь, — и пошла вниз. Но между ней и Иссарой стояли одиннадцать ульев, и синий из них не любил ничего, что летает и не жужжит.

Синие поднялись тучей. Ласточка зазвенела, как рюмка, если провести пальцем по краю, заметалась, ударилась о трубу. Иссара сорвала с себя накидку и накрыла ею вестника на лету — так ловят курицу. Пчёлы сели на накидку сверху и сидели, злые, пока Оранна не сказала им что-то вполголоса, на языке, которого, кажется, не знал никто, кроме Оранны и пчёл.

Одно крыло у ласточки треснуло у основания, но держалось. В клюве у неё была трубочка тонкой бумаги.

— Читай вслух, — сказала Оранна. — Я всё равно не вижу.

— Это мне.

— Я догадалась. Читай.

Иссара развернула. Почерк был крупный, торопливый, с кляксами там, где перо цеплялось за бумагу на ухабах.

«Иссара.

Шубы пригодились. Не на север — на ночёвки. Ночью тут холодно уже сейчас, хотя днём жара, а учитель велел ставить шатры по уставу Огненной башни, без жаровен, потому что огненным жаровня — позор. Мы спим в шубах. Учитель тоже спит в шубе. Я видел. Шуба у него с куньим воротником, а борода сверху, на две стороны, как на парадном портрете. Он так и спит.

Хьяльти — это наш проводник — вчера вечером сел у шатра учителя и полчаса смотрел, как мы разжигаем костёр руками, без огнива. Потом сказал: «Ловко. А если рук не будет?» Учитель сделал вид, что не слышал. Хьяльти мне нравится. Он говорит, что там, куда мы идём, его народ не живёт, потому что земля там «дышит». Я спросил, как это. Он сказал — придёшь, увидишь. И что он доведёт нас до места, где дышит, и дальше не пойдёт, хоть озолоти. Учитель сказал, что озолотит. Хьяльти сказал: «Вот и я про то».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.